

К. Н.
ЛЕОНТЬЕВ

Сочинения



Константин Николаевич Леонтьев

Мои воспоминания о Фракии

«Осенью, в 1864 году, меня назначили управлять Адрианопольским консульством. Консулом тогда в Адрианополе был молодой человек, Михаил Игнатьевич Золотарев. Он ехал надолго в Россию в отпуск и ждал меня с нетерпением на смену себе.

Дождливым октябрьским утром я сел на пароход, чтобы плыть через Силиврию в Родосто, где меня должен был ждать экипаж. ... Я терпеть не могу моря, страдаю от качки и нахожу долгое плавание на пароходе чем-то нестерпимо скучным и рабски-мучительным. Путешествие верхом, хотя бы и самое утомительное, напротив того, очень люблю...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0019
III.....	.0030
IV.....	.0039
VI.....	.0056
VII.....	.0095
VIII.....	.0134

**Константин Николаевич
Леонтьев**

Мои воспоминания о Фракии

Осенью, в 1864 году, меня назначили управлять Адрианопольским консульством. Консулом тогда в Адрианополе был молодой человек, Михаил Игнатьевич Золотарев. Он ехал надолго в Россию в отпуск и ждал меня с нетерпением на смену себе.

Дождливым октябрьским утром я сел на пароход, чтобы плыть через Силиврию в Родосто, где меня должен был ждать экипаж. В Родосто у нас был почетный консульский агент г. Каде, подведомственный Адрианопольскому консульству. Он должен был позаботиться о моем спокойствии, взять у каймакама жандармов для сопровождения меня сухим путем до Адрианополя и буюрулду, то есть бумагу, содержащую приказ облегчать мне все на пути и оказывать мне должное внимание. В стране были разбои.

Я терпеть не могу моря, страдаю от качки и нахожу долгое плавание на пароходе чем-то нестерпимо скучным и рабски-мучительным. Путешествие верхом, хотя бы и самое утомительное, напротив того, очень люблю. Я был

еще молод тогда и об опасностях как-то мало думал. И к тому же если уже говорить об опасностях, то нельзя не согласиться, что опасность на море как-то бессмысленнее, противнее и вместе с тем неотвратимее, чем опасность от *злых людей*. С разбойниками можно говорить, можно защищаться или уступить им все. С морем имеют дело только капитан и матросы; но пассажир – что такое? Какое-то несчастное, беспомощное и запертое в клетку животное, которое не имеет ни голоса, ни власти, ни силы! Отвратительно!..

Однако... не знаю и не помню, по русской ли лени, чтобы в Царьграде не хлопотать самому о буюрулду, жандармах и почтовых лошадях, или по какой-то личной слабости, я внял убеждениям знакомых и приятелей, которые мне говорили, что до Родосто всего восемь часов и что я морем доеду скоро и отлично, и сел на пароход один, без провожатого, без слуги, без буюрулду, и мы отплыли часу в девятом утра.

Ветер был северный и Мраморное море было беспокойно; но нас не слишком качало. Пароход был маленький, старый, очень пло-

хой, один из тех, которые ходят по Босфору, и только для плавания в проливе поблизости к берегам и годятся. Он был донельзя наполнен пассажирами и сидел в воде так глубоко, что было очень неприятно смотреть с палубы на свинцовое, мрачное, открытое море, которого волны кипели так близко за бортом. Шел мелкий и частый осенний дождь и, кроме унылого, серого, взволнованного моря и темной полосы все удалявшегося берега, ничего не было видно. Палуба маленького плоского и тесного судна нашего была полна черкесами и всяким народом. Казалось, что пароход стоит на месте, так мы медленно шли. Так прошло несколько часов. Уже вечерело, мы не только не приближались к Родосто, но еще и приморского города Силиврии на полпути не было видно. Я сходил в темную и тесную каюту, опять поднимался на палубу и слушал непонятные мне, но шумные беседы оборванных черкесов, мокших на осеннем нескончаемом дожде... и снова спускался в каюту. Это становилось невыносимо! Я укорял себя строго за то, что на этот раз послушался других, тогда как уже пора мне было привыкнуть, что мои

вкусы и мои потребности очень редко совпадают со вкусами и потребностями большинства. Чем же я виноват, если для меня приятнее и легче ехать по Балканам верхом, даже и в дурную погоду, чем на самом лучшем австрийском пароходе Ллойда! Каково же мне было плестись целый день на этой утлой и погруженной по горло в бурное море турецкой черепахе!

Я решил сойти в Силиврии и ехать до Адрианополя двое или трое суток, не спеша, верхом. (Я не знал расстояния и, вообще, я незнаком вовсе был со внутреннею Турцией; я прослужил перед этим только семь месяцев в Крите.)

В каюте я обратил внимание на одного плотного мужчину средних лет с белокурою бородой, в феске и хорошем новом темно-синем европейском ваточном пальто. При нем был слуга, который приготавливал ему наргиле, и еще какие-то спутники, обращавшиеся с ним почтительно.

Я понимал уже по-гречески и из разговора в каюте узнал, что этот важный спутник мой – богатый константинопольский грек, ко-

торый едет по своим делам в Силиврию.

Я решился обратиться к нему за советом, когда мы выйдем на берег. О расходах на уплату извозчику, присланному из Адрианополя в Родосто для меня нарочно Золотаревым, о потере половины билета, взятого до Родосто, и о других тому подобных вещах я забыл, конечно, и думать, радуясь, что избавлюсь от тоски ехать еще дальше морем.

Как только мы вышли или, лучше сказать, взобрались с большим трудом с лодочки на бревенчатую пристань печального городка Силиврии, я обратился к полному греку и сказал ему по-гречески:

– Я, кирие-му (господин мой), здесь ничего и никого не знаю. Хочу ехать в Адрианополь сухим путем и не имею никакого понятия, где и что мне достать и сколько заплатить... Не поможете ли вы мне вашими советами?.. Я – православный.

Грек, не вынимая рук из карманов пальто, поглядел на меня несколько надменно и заметил холодно:

– Вы должно быть иностранец? По вашему произношению я вижу, вы не элин. Не валах

ли вы?

– Нет, я русский, – отвечал я.

Фанариот тотчас же переменил тон и, подавая мне руку, сказал с участием:

– А! вы русский!.. Что же, все это легко устроить.

И, обращаясь потом к другому спутнику своему, греку же, он сказал:

– Здесь, в Силиврии, мы имеем много греков-русофилов, которые будут очень рады оказать господину этому гостеприимство...

– Я знаю хорошо только критских греков, – сказал я на это, – но от них я видел столько дружбы к русским и столько любезности, что одно мое желание – встретить такие же чувства во Фракии.

Разговор этот происходил на пристани, где эти греки ждали кого-то. Но ждали мы очень недолго; почти сейчас же прибежал довольно красивый, усатый мужчина, лет тридцати, прекрасно и очень чисто одетый по-восточному. На нем были шальвары такого покроя и умеренной ширины, какие носят низамы и французские зуавы, куртка и жилет со множеством пуговиц. Вся одежда эта была тем-

но-оливкового цвета и тонкого сукна; яркая феска и красный кушак очень шли к этому серьезному общему цвету платья. Я с радостью всегда встречал на Востоке всякую, даже неопрятную и очень бедную, лишь бы не европейскую одежду и помнил еще живо тот сердечный отдых, какой почувствовал впервые на острове Сире, где в первый раз после Петербурга, Вены и скучного Триеста увидел, наконец, на улицах толпу *не западную*, а какую-то для меня новую и приятную. В первый раз я в Сире увидел, что не всегда только театр может быть похож на жизнь; но есть еще места, где жизнь может походить на оперу или очень красивый балет... Так это весело, после всей этой казенщины XIX века!

Пришедший на пристань грек в оливковом платье был родственник не того полного фанариота, к которому я обратился за помощью, а другого – его спутника, которого теперь я даже и наружность забыл. Он тоже был одет по-европейски, имен я их вовсе не помню. Грек, по-восточному одетый, был семейный человек; он имел в Силиврии очень хороший, просторный и чистый дом. Он всех

нас к себе тотчас же и повел.

Про Силиврию я должен сказать, что это маленький, унылый и небогатый городок. Он показался мне очень печальным, особенно под этим серым небом и при мелком дожде, который все не кончался. Я помню, что мы шли осторожно через грязь и кучи сгнившего сена или навоза, по которому нахохлившись бродили мокрые куры. Помню какие-то бедные серые стены... и больше ничего.

В доме у живописного грека зато было очень хорошо: светло, просторно, чисто, просто; широкие диваны около стен, никаких из тех противных претензий, которых повсюду так много в домах средней руки, по-европейски убранных. Молодая, полная, белокурая хозяйка была приветлива и, по обычаю гречанок и болгарок, очень скромна и молчалива. Дети были красивы и здоровы. Обедом нас накормили и, сколько помню, недурным, хотя, разумеется, местного вкуса: очень густым рисовым супом с лимоном и яичным желтком (авго-лемоно любимый суп на Востоке), вареною курицей, вынутою из этого же супа и очень хорошою жареною бараниной. Я забыл

сказать, что в одно почти время с нами пришли в этот греческий дом двое турок; они были беи или чиновники (не помню), оба средних лет, в фесках и низамских черных сюртуках; очень вежливы и разговорчивы. И они обедали с нами. Дело было в том, что фанариты приехали из Царьграда покупать у этих турок имение под Силиврией, и все собрались в том доме, куда я случайно попал.

После обеда все они, и турки, и греки, приняли очень живое участие в моем положении и каждый давал советы на чем и по какой дороге ехать. Прежде всего, разумеется, явился у кого-то на сцену здравый смысл в виде совета переночевать тут, вскочить на рассвете и бегом бежать опять на тот же пароходик, который сам «страха ради морского» заночевал в Силиврийской гавани. И все это, чтобы меньше истратить! Но я всегда находил, во-первых, что вскакивать и бежать можно только в очень важных случаях (для отчизны, например, или для пользы другого), а никак не для себя, когда все можно делать не спеша и сохраняя хотя сколько-нибудь то человеческое достоинство, которое так глубоко потрясено

всеми этими парами и беготней.

Я не колеблясь отверг совет здравого смысла и решился идти к каймакаму, чтобы выпросить у него буюрулду и жандарма для долгого странствования сухим путем. Оливковый и живописный усач-хозяин любезно взялся быть моим драгоманом, ибо я и по-турецки знал еще очень мало, и мы с фонарем в темноте отправились по непроходимой грязи в конак. По правде сказать, меня все это – и грязь, и ночь, и фонарь, и хозяин, и каймакам – очень занимало.

Мы пришли в конак. Надо помнить, что у меня не было никаких удостоверений моей личности, кроме паспорта на французском языке, выданного мне из константинопольского нашего консульства. Французского языка в конаке каймакама никто не знал. Двуглавый орел на паспорте мог доказывать только, что паспорт русский, но кто я сам такой: действительно ли управляющий русским консульством в Адрианополе, который без труда в счастливый час может ловким подводом даже и сместить этого самого каймакама, или просто торгующий русский подданный, или

самозванец и какой-нибудь вредный и независимый от правительства агент... У меня было одно доказательство – мой ar10mb. На него только была надежда. Поэтому я вошел в залу меджлиса, как правый и сильный человек. Зная слово векиль (управляющий, исправляющий должность), я подошел к каймакаму и, протягивая ему руку, сказал (вероятно вовсе неправильно).

– Эдирне Москов консулос векиль, эфендим!.. Каймакам встал с дивана и все присутствующие за ним. Каймакам был невзрачен, очень бледен, как восковой; черные выпуклые глаза и очень острый нос придавали лицу его что-то недоброе, хищнически-птичье... Я, не дождавшись приглашения, сел на диван как можно ближе к нему и подал ему паспорт, указывая на двуглавого орла. Каймакам посмотрел и, почтительно приложив руку к сердцу и лбу, возвратил мне паспорт. Потом спросил: «Здоров ли я и надолго ли в их городе?» – и поздравил с приездом.

Тогда я попросил своего оливкового хозяина объяснить ему все: о Родосто, о том, что меня ждет чуть не свита, о том, что буюрулду я

не взял просто по нерадению, будучи уверен, что и так, в случае нужды, мне власти везде окажут внимание и исполнят свой долг.

– Это наш долг, это наш долг! – повторил каймакам выразительно и приказал тотчас же написать мне от себя буюрулду, оговорившись, что она будет иметь вес только в его округе, а потом где-то, не доезжая до Адрианополя, надо будет взять от другого каймакама новый.

После этого он очень любезно и патриархально вошел в мои денежные потери и сказал, что если он не вмешается, то с меня могут взять за почтовых лошадей вдвое. По правилам, купцы и вообще не служащие люди платят вдвое больше чиновников как турецких, так и иностранных за почтовых лошадей.

Позвали цыгана, хозяина почты.

– Сколько ты возьмешь с господина этого за лошадь? Ему нужно платить за трех лошадей: за свою, за твою и за вьючную, – спросил каймакам.

Цыган назначил обыкновенную не чиновничью цену.

Каймакам сказал, что он должен взять половину. Ямщик возразил было, что у меня нет буюрулду (кто знает, что это за человек!). Но каймакам только этого и ждал, то есть чтоб обнаружить мне свое доверие и административную энергию.

– Молчать осел!.. – крикнул он. – Разве это твое дело... Цыган смирился и я, поблагодарив каймакама (который просил меня со своей стороны не забывать его), вернулся домой.

Итак, все устроилось прекрасно; завтра я свободен от душной каюты, от седых волн, от плохого турецкого прогресса; я поеду в Адрианополь так или почти так, как езжали в Турции еще в те времена, когда турки были грозны и страшны всей Европе, когда великий визирь на извещение французского посла о победе, одержанной его королем над австрийцами, имел еще возможность отвечать с оригинальною прямою: «Хорошо; я доложу султану; но, по правде сказать, нам все равно: собака ли ест свинью или свинья ест собаку!»

И в самом деле, все было прекрасно. Переночевали мы у гостеприимного грека хорошо. На очень чистом полу в просторной и свет-

лой комнате с диваном, комодом и столиком, нам, всем пятерым гостям: двум туркам, двум фанариотам и мне, постелила белокурая и солидная хозяйка широкие, свежие и превеселые на вид пестрые ситцевые тьюфяки, положила узенькие подушки со свежими наволочками и накрыла стегаными шерстяными и ситцевыми, тоже очень чистыми и новыми одеялами.

Мы все легли рядом, и я поутру, проснувшись позже всех, пил не спеша обожаемый кофе, курил, курил, очень долго курил, и пил, и... наконец-то, наконец, около полудня тронулся в путь верхом с *суруджи* (ямщиком), жандармом и вьючною лошадыю по унылым, серым и пустынным холмистым полям южной Фракии.

Не помню сколько дней мы ехали, два или три дня. Я думаю, что три, потому что я люблю ехать на лошади скоро, но при этом не люблю долгих, без отдыха переездов, и с привала меня поднять довольно трудно.

Вообще из этого путешествия у меня мало осталось в памяти любопытного и поучительного. Мы ехали через городки: Чорлу, Баба-Эски, Луле-Бургас и Хапсу. После Хапсы Адрианополь.

Все эти городки, вообще, очень однообразны, бедны, некрасивы и очень унылы. К ним вот можно, если уж непременно нужно, приложить те иеремиады прогресса, которые мы постоянно читаем, когда речь идет в нашей печати, не менее серой впрочем, чем эти забытые уголки Турции. Мне через них пришлось и позднее проезжать еще раза два. И так как я решительно не в силах по-немецки или по-английски записывать, замечать, *нарочно* наблюдать и разыскивать, то поэтому и теперь, даже после троекратного путешествия, все эти небольшие города для меня

сливаются в нечто однородное и общетурецкое, очень печального оттенка. Я помню, что в Луле-Бургасе лепят из глины с золотом и без золота чрезвычайно хорошо всякого рода вещи: чашечки, пепельницы, блюдечки, не говоря уже о превосходных трубках для чубуков (оттого и название *луле*, трубка). По заказу и по образцу мастера в Луле-Бургасе способны делать иногда вещи вполне художественные. Так, например, у французского консула в Адрианополе, г. Гиза, человека образованного и не лишённого вкуса (чего нельзя было вообще сказать о наших французских коллегах на Востоке), был в доме древний, глиняный, из Египта, очень своеобразный и красивый сосуд. Это был небольшой графин для воды, несколько широкий и низкий, с глиняною же пробкой и двумя ручками по сторонам, изображавшими очень отчетливо и чисто утиные головы. Г. Гиз отдал этот древний сосуд мастерам в Луле-Бургасе, чтоб они по образцу его сделали другой такой же. Они сделали и потом было очень трудно отличить новый сосуд от древнего, который прекрасно сохранился. Только глина нового казалась потемнее. Чор-

лу я совсем не помню. Баба-Эски, кажется, больше других по размерам и в нем есть большая, хорошая мечеть с широким куполом. А в Хапсе есть развалины прекрасного старинного караван-сарая, который был построен из тесаного камня.

Я помню эти развалины Хапсов и небольшой хан против них у старой арки в полуразрушенной стене, но помню их и не в этот осенний день, когда я проехал мимо них невнимательно и занятый лишь своими думами, а в другой раз, в жгучий полдень южного июля, когда я, сидя с наргиле под навесом хана, смотрел на борьбу нагих пехлеванов, приглашенных на состязание по случаю какой-то турецкой свадьбы; смотрел на синее безоблачное небо, на множество молодых аистов, которые еще только учились летать, поднимаясь невысоко над гнездами, воздвигнутыми их родителями во множестве по стенам и остаткам караван-сарая...

Это было прекрасно! Зелень в тени высокой стены пред ханом была густа и свежа... У стены этой напротив нас сидели в тени на траве турчанки и бегали дети с криками и ве-

сельем. Восточная музыка играла в одно и то же время и заунывно и пронзительно... Было что-то особым образом возбуждающее в ее нестройной и дикой поэзии... Боролись красивые, сильные борцы, босые, с нагими могучими торсами... Боролись мирно, весело, соблюдая все рыцарские правила честной игры...

Турецкая жизнь и южная природа являлись в тот раз предо мной своими прекрасными, поэтическими сторонами. Но это было год спустя; первый же раз я знакомился с фракийскими полями и фракийскою жизнью в октябре, в дурную погоду, когда в унылых городках, чрез которые я проезжал, не было ничего, кроме грязи и мертвенной тишины. Но я вовсе не каялся, что поехал сухим путем, и все невзгоды переносил тогда очень весело. Закутавшись в бурку, я мок на мелком дожде и слушал с удовольствием песни суруджи, не понимая в них ни слова.

Мы съезжали рысью с горок, въезжали опять на горки... Все поля и поля – холмистые, необработанные. Ни одной деревни я не помню... Я помню, солнце садилось на левой стороне нашего пути... Молодой цыган все пел и

пел... Встречались стада баранов и болгарские пастухи в бараньих шапках и коричневых одеждах. Не умею назвать того впечатления, которое произвели на меня эти коричневые пастухи на этих сероватых полях. Скорее всего его можно назвать скучным.

Спутником моим был один мусульманин, молодой заптие Билау[1], из крымских татар. Билау был юноша лет двадцати с небольшим, тихий, некрасивый, но очень приятный лицом; он переселился из Крыма недавно. Я тоже был в Крыму не так давно. Я знал слов двадцать-тридцать турецких и татарских; он знал столько же по-русски. Я Крым и крымских татар любил. Во все время он был чрезвычайно ко мне внимателен, и видно было по выражению доброго лица его и по его улыбкам, то вовсе не одна надежда на скромный какой-нибудь бакшиш одушевляла его; ему было приятно встретиться с человеком, который знает его родину, видал Карасу-базар и Бахчисарай, который умел сказать: *якши* и *яман*, мог считать по-татарски (или все равно по-турецки) почти до *ста* и с которым и он мог сказать два-три слова на языке зна-

комых с детства урусов. Внимание его особенно обнаруживалось ночью, на ночлеге. Суруджи на этом перегоне попался нам широкоплечий, тяжелый, угрюмый и очень уж старый цыган в пестрой по красному фону большой чалме. Он еще ездил с почтой по нужде и, вероятно, по привычке, но страдал хроническим кашлем и одышкой, и никакие обещания и угрозы не могли заставить его ускорить шаг своей лошади. Как ни старался я восхищаться его живописными морщинами, седою бородой, пестрым турбаном и огромною спиной, но все-таки мы опоздали на городской ночлег и уже было совсем темно, когда мы свернули с дороги в какой-то хан, стоявший посреди поля. Взошли. В тесной комнате было уже кроме нас человек пять-шесть проезжих или прохожих турок простого звания. Они курили, пили кофе и разговаривали громко. Лица все были суровые и одежды бедные. Наш старик суруджи с громким кашлем и ужасным хрипом потребовал себе яичницу, и хозяин (вероятно христианин) развел огонь в очаге. Старик все был чем-то недоволен и бранился. Остальные улыбались. Я спросил у Би-

лау: «За что старик сердится?» Билау отвечал мне по-русски, смеясь: «Старый человек! Порядок любит! Должно быть хозяин что-нибудь неаккуратно по его понятию сделал». Однако дело было для меня не так просто на этом мрачном и подозрительном ночлеге, как может казаться с первого раза. Со мной, кроме моих собственных вещей, ехал на вьючной лошади ящик, в котором были казенные деньги золотом на довольно значительную сумму, сверх того новый секретный шифр, который посылала константинопольская миссия для нашего консульства, и еще несколько богослужебных ценных предметов для болгарских церквей Фракии. Доброе юношеское лицо Билуу внушало мне доверие; но он был, вероятно, еще неопытный человек, геркулесом не казался, и во всяком случае он был *один*. А этих неизвестных людей в чалмах или в старых платках, повязанных на фески, было много, и они держали себя очень независимо и даже надменно. У меня оружия не было. Я думал об ящичке и, поглядывая на Билау, сказал ему тихо, указывая на него: – «Что будем делать?» Билау тотчас же понял меня

и, сделав мне знак головой, отвечал: «Ничего! Все хорошо сделаем!» Были у одной стены этой тесной и грязной комнаты какие-то не очень высокие деревянные нары; они были широкие, как двуспальная кровать. Билау поместил заветный ящик в самый угол, загородил его моим саквояжем и чемоданчиком и поставил надо всем этим в угол свою шашку и заряженное ружье, подмигнул мне тихонько и предложил лечь к стене; я подложил себе в голову мою еще сырую бурку и лег не раздеваясь; а Билау свернул точно так же свой толстый солдатский бурнус и лег с краю около меня, спросив меня вежливо и тихо: ничего мне, если и он со мной ляжет? Я был очень рад; он устроил все так ловко, что худому человеку невозможно было коснуться ящика, не разбудив нас и не наделав шуму и стуку. Ружье и шашка были у нас под рукой. Итак, с этой стороны я успокоился. Но громкие разговоры и смех очень долго не давали мне заснуть. Как только утомленный путем я начал сладко дремать, вдруг раздавались громкий возглас или хохот, или три-четыре человека разом начинали кричать и спорить, как

будто дело доходило у них до ссоры. Старик суруджи курил наргиле у очага, вода журчала и он громко хрипел и кашлял еще сильнее прежнего, так как усилие легких при курении наргиле всегда облегчает отделение мокроты у людей, страдающих атоническим, застарелым кашлем. Я не говорю уже о том, что блох было множество и что мы с Билйу, оба одетые, бились с ними нестерпимо и только общались друг другу со вздохом: «Чок пире вар! чок пире!» Билау, видя, что я не сплю и мучаюсь, сперва распорядился привести в порядок мусульманскую публику и сказал разговаривающим:

– Перестаньте громко говорить, видите человек спать хочет!

На это один турок ответил резко:

– Это что такое, чтоб из-за одного человека семеро молчали!

Но Билау, несмотря на свою молодость, ответил ему твердо и строго:

– Молчи! это царский человек... векиль московский... слышишь?

Эти слова подействовали прекрасно, и громкий крик заменился надолго тихим и

очень сносным шепотом. Только старый цыган мой в пунцовой чалме все курил, все журчал водой, все хрипел и все кашлял... Но и при этих условиях спать было невозможно. Утомление еще не было настолько велико, чтобы не чувствовать блох.

И Билау не мог спать. Соболезнуя обо мне, он приказывал хозяину раза два-три, по собственной инициативе, подавать мне черный кофе и всякий раз, не спрашивая даже, брал мой табак, крутил мне папиросы и без стеснения сам смачивал их языком. Мне эта простота и душевность его очень нравились, и я курил эти папиросы, думая о Крыме и о первой молодости моей, проведенной на войне в Крыму... Поздно заснули и мы, и все другие посетители хана... да и то ненадолго. Старик цыган разбудил нас на рассвете, и мы опять тронулись в путь. На следующем привале я простился с добрым Билйу. Мне дал мудир другого заптие, с которым я должен был доехать до самого Адрианополя. Больше ничего я из этого путешествия моего не помню. Разве только то, что не слишком далеко от Адрианополя мне пришлось видеть одного *разбой-*

ника и подать ему милостыню.

Погода разгулялась; осеннее солнце начинало приятно греть нашу сырую от двухдневного дождя одежду; дорога быстро сохла; мы ехали к Адрианополю весело рысью, и новый молодой суруджи, который сменил сурового, больного и огромного старика нашего, громко кричал и весело пел: «Аман, аман, Багдатлы!» Я с тех самых пор всем сердцем любил эту турецкую песню, и когда прошлого года я посетил в Калуге двух турецких офицеров, взятых в плен в Никополе, и узнал, что один из них играет на кларнете, первая просьба моя к нему была сыграть «Багдатлы!» Эту простую песенку, вероятно, все товарищи мои по службе на Востоке знают, а может быть, и военным нашим она теперь знакома... (Впрочем, у наших соотечественников есть большая способность ничего почти не выносить из чужой страны, в которую заносит их судьба... Особенно об этой бедной Турции, я думаю, кроме того, что *мостовые не хороши* в городах, редко можно что-нибудь услышать. Я, по крайней мере, редко слы-

шал.)

Так мы ехали, говорю я, весело, и мне беспрестанно приходилось то радоваться, что я в Силиврии оставил цивилизованные средства сообщения, то негодовать на себя за то, что я сначала послушался константинопольских знакомых и поехал на этом тошном и гнусном пароходе. Около полудня подъехали мы к какому-то мостику через ров или небольшую речку, и спутники мои, заптие (не милый Би-лау, а новый, какой-то бесцветный) и суруджи, свернули с дороги на травку дать лошадям постоять немного. Заптие уехал подальше и стал на горке. У моста сидел на земле очень смуглый и худощавый мужчина, казалось, лет тридцати. Он был одет очень бедно, грязно и не по времени года легко. Старая феска его была обвязана оборванным платком, потерявшим всякий цвет; на ногах были старые башмаки на босу ногу; на теле, кроме грязной рубашки и полотняных узких шальвар до колен, не было ничего; только старый красноватый кушак вокруг гибкого стана. Человек тот сидел на сырой земле раскинувшись очень живописно и задумчиво. Когда

мы отъехали на траву, на противоположную сторону дороги, незнакомец этот встал и направился к нам... Я принял его за нищего и стал доставать деньги. Но молодой суруджи мой сказал мне громко, делая отрицательный знак головой: «Не давай, эфенди, не давай ему!» и потом начал кричать на незнакомца очень сердито и громко; я мало понимал изовес... его довольно многословной и, казалось, взволнованной речи, но догадывался только, что суруджи запрещал ему подходить. Смуглый оборванец остановился шагах в двадцати и отвечал ему сперва с кротким и убедительным видом; потом, внезапно размотав и бросив на землю свой старый кушак, приподнял короткую, только до перехвата стана доходившую рубашку и показал, что у него там ничего, кроме его нагого бронзового тела, нет... В эту минуту только я догадался, что это не нищий, а какой-нибудь опасный человек, который хотел доказать, что при нем нет оружия. Я подозвал его поближе движением руки и дал ему пять пиастров. Он поглядел на меня очень ласково томными прекрасными черными очами своими, поклонился почти-

тельно и, вернувшись опять к мосту, сел на прежнее место. Когда мы тронулись в путь, отъехав от него подальше, суруджи обратился ко мне и сказал: «Фэна адам! (худой человек) *Гайдут!* «Я знал, конечно, слово гайдук, а гайдут еще не знал, но догадался, что это значило; чтоб удостовериться в справедливости моих догадок, я знаком показал, что не совсем еще понимаю; тогда суруджи показал очень выразительно сперва в сторону Балкан, приговаривая: «дат! дат!» (гора! гора!), а потом провел несколько раз по горлу, придавая лицу своему выражение ужаса и отчаяния... Этого объяснения было достаточно. Но я не пожалел ничуть моих пяти пиастров.

Я восточных разбойников, каюсь, люблю, люблю, конечно, не в том смысле, что желал бы быть пойман ими, или чтоб они оставались всегда безнаказанными, а в том смысле, в каком можно волка, гиену и тем более леопарда предпочитать домашней свинье или безвредному ослу. Всего этого домашнего я довольно уже насмотрелся и в Петербурге, и можно было пожертвовать пять пиастров за то, чтобы видеть так близко и безопасно на-

стоящего Арнаута-разбойника.

В Турции все еще было ново для меня тогда, особенно в этой части Турции; я пред этим прожил только шесть-семь месяцев в Крите, где было все иначе, чем во Фракии: природа, климат, люди, одежда, политические интересы; да еще провел я четыре месяца в Константинополе при посольстве нашем в Буюк-Дере. Я с жадностью и радостью ловил всякий самобытный образ, всякое самородное явление... И потому все меня тогда занимало, приятно волновало, радовало невыразимо: и песни цыгана-извозчика, и свежий, приветливый, гостеприимный дом черноусого русофила, силиврийского щеголя в оливковой одежде, и красная чалма больного старика суруджи, и ночлег на жестком ложе с Билйу, с заветным ящичком в изголовье, в обществе неизвестных, полудиких людей, посреди пустынного, бесконечного поля темною осеннею ночью, и бледный каймакам с острым носом, и разбойник, просящий милостыню, и мелкий дождь, мочивший меня точно на родине, и заря, которая краснелась в таинственной дали за степью, все по правую руку от на-

шей дороги, и болгарские пастухи в бараньих шапках, и травка зеленая, и мысль о том, как я буду управлять в первый раз делами консульства, которое считалось одним из самых деятельных и важных для нас... Мне, впрочем, было уже за тридцать лет в то время, и радуясь, я понимал, что, прожив всего только семь месяцев в Крите, где тогда делать было почти нечего, разве только наблюдать за действием других, я во Фракии должен буду взяться за дело серьезно и рассудительно. Не говоря уже о долге гражданском, которого благородное и высокое бремя я готов был тогда нести с любовью, ибо личные убеждения и склонности мои в то время были в высшей степени патриотические и почти в славянофильском смысле народные; но и самое самолюбие мое было возбуждено. Меня считали литератором, *поэтом*, так сказать... Надо было доказать, что поэзия не мешает делу.

Мы приехали в Адрианополь еще засветло. С этой стороны, с константинопольской, нет ни садов шелковичных, ни виноградников; пред въездом в предместье, около дороги, белется множество мраморных и каменных

столбов, увенчанных турбанами и другими головными уборами старого времени; это большое турецкое кладбище. От въезда до нашего консульства было недалеко. Город мне очень понравился: в нем самом и в окрестностях его много садов; и хотя в то время года, когда я приехал, листья уже опали, но и множество нагих ветвей вокруг строений, их тонкие фантастические узоры, сливающиеся издали в какую-то легкую дымку, мне нравились всегда и в иные дни больше самой свежей и тенистой зелени; я заметил еще, что в городе довольно много хороших домов, расписанных разноцветными красками: розовою, темно-красною, голубою, коричневою; много высоких тополей и минаретов. Местами, конечно, Адрианополь имеет бедный и неопрятный вид, но есть в нем виды восхитительные, вроде московских; есть прелестные уголки, есть достаточно удобные и внутри очень красивые дома, хотя и не прочной постройки, как большая часть турецких построек. Народ одет пестро... Этому я тогда радовался столько же, сколько радуются живописцы; а до ужасной мостовой (сознаюсь к стыду мо-

ему) мне в то время не было никакого дела. Я едва замечал мостовую, я был рад взяться за серьезное дело; я был рад, что город оригинален, я был рад, что отдохну сегодня, я был рад, что так мало отдыхал все эти дни, что ехал так долго и по-варварски верхом, что ночевал так ужасно в таком ужасном хане; я был рад, что видел разбойника и дал ему пять пиастров... Я был всем доволен; но особенно я обрадовался, когда увидел, что суруджи мой остановился на углу одной довольно оживленной улицы, около каких-то лавок, где толпился столь милый мне восточный народ, пред каменным крыльцом двухэтажного, темно-коричневого, очень опрятного и, казалось, нового дома. Над дверьми висел круглый герб с двуглавым орлом и надписью: «Consulat Imperial de Russie»[2].

Дверь мне отворил с приветствием настоящий *русский Иван*, красивый, круглолицый, несколько бледный молодой человек в поддевке; глаза его были очень выразительные и немного монгольские... Это был верный слуга Золотарева, из бывших крепостных, теперь свободный и сохранивший одни лишь хоро-

шие стороны крепостной благовоспитанности. Он тотчас же ввел меня в очень веселую гостиную с пестрыми стенами и ярким красным ковром; послал скорее за консулом, который беспрестанно бывал тогда у г. Блонта, и тотчас же, по собственной инициативе, почтительно предложил мне холодных котлет, жаркого, вина и варенья... Я на все согласился с удовольствием... Мне все нравилось, мне всего хотелось тогда...

IV

Золотарев уехал чрез три дня после моей» приезда. Он ехал в Россию через Балканы сухим путем на Белград (Сербию) вместе с английским вице-консулом г. Блонтом, тем самым Блонтом, который теперь, стал так известен у нас своею к нам враждой. Блонт ехал в Сербию управлять генеральным английским консульством в Белграде, на время отсутствия родственника своего г. Лонгворта (тоже одного из самых ожесточенных врагов России на Востоке). У англичан, насколько я слышал, консулы нередко сами предлагают себе заместителей на случай отъезда, и nepотизм допускается у них охотнее, чем во всех остальных государствах. О г. Блонте мне придется говорить позднее еще много. О нем стоит говорить. В Адрианополе Блонт оставил будто бы управлять своего младшего брата Жоржа, юношу всего лет девятнадцати или двадцати, весьма ограниченного и необразованного, но довольно доброго малого, который отлично танцевал и ездил верхом. По странному сочетанию обстоятельств (я их объясню впослед-

ствии), этот мосьё Жорж, управляя за брата британским консульством, был в то же время у нас *вольнонаемным писцом за четыре турецкие лиры в месяц* и даже поселился в одной комнатке в нижнем этаже нашего консульства по распоряжению г. Золотарева. Всю свою квартиру, мебель и утварь Золотарев уступил по обычаю мне как управляющему. Так делали почти всегда наши консулы на Востоке, когда уезжая надолго сдавали дела вместо себя управляющему.

Дождливым утром собрался народ пред нашим подъездом, верховые лошади, конные заптие и кавасы в красных одеждах, фургоны дорожные, известные во Фракии под названием *брошов...* Красивая белокурая мадам Блонт, несмотря на дурную погоду, села молодецки на свою вороную лошадку; муж ее, тоже лихой наездник, гарцевал суетясь около экипажей; но наш Золотарев ездил верхом нехорошо; сам он был очень красив и мужественен на вид, высок и величав, но ездить не умел, и супруги Блонты, которые жили тогда с ним душа в душу, в то время только что учили его верховой езде. Золотарев не хотел

ехать верхом; он сел в повозку; верховую его лошадь повели в поводу, и караван тронулся весело в дальний и трудный путь.

Им было всем весело; а я остался один в незнакомом городе, с незнакомыми людьми, никому не доверяя, не имея еще понятия о текущих делах консульства, плохо зная по-гречески, по-болгарски почти ни слова и по-турецки слов тридцать, как я уже сказал. Уезжая, Золотарев оставил, однако, мне очень хорошую и ясную инструкцию на французском языке и послал с нее копию в Петербург и Константинополь. И на словах, и в самой инструкции официально он указал мне на драгомана консульства, адрианопольского уроженца, г. Э. С., которого знание дел и всей нашей местной политики после 1856 года внушало консулу полное доверие. Э.С. служил при трех консулах подряд, при людях весьма несхожих характеров и взглядов, и всем им внушал доверие. Золотарев разрешил мне официально пользоваться вначале смело и не колеблясь его советами.

Консул, сверх того, в течение этих трех дней, которые мы провели с ним вместе,

представил меня толстому, красному Сулейман-паше, турку старого стиля, не из злых, а из лукаво-простодушных, и паша очень патриархально обещал Золотареву «любить меня как сына своего!» (Он был гораздо старше меня.) С западными консулами я также в эти три дня со всеми познакомился; не только с французским, английским и греческим, которые были *действительные* консулы, *присланные*, *consuls envoyes*, но мы объехали верхом и целую толпу *почетных* консулов (*honoraires*) Испании, Дании, Пруссии, Голландии, Бельгии и т. д. Все эти псевдоконсулы, не получавшие ни жалованья, ни повышения, а только изредка ордена, были из местных купцов-католиков, дети давних итальянских или французских переселенцев, нечто вроде цареградских перотов с провинциальным тяжелым оттенком. Все они были родня или почти родня между собою; все из двух родов: Бадетти и Вернацца, так что я сначала не мог их почти различать и не знал, что мне делать, кого как называть и кому что говорить...

– А теперь куда же мы еще едем? – спрашивал я Золотарева.

– Теперь к Фредерiku Вернацца, – смеясь говорил Золотарев. – Погодите будет еще Антуан Вернацца, Франсуа Вернацца, Франсуа Бадетти.

Я терялся в этом лесу скучной, лукавой, тупой и враждебной нам западной буржуазии, которой надо было, если не любезности говорить, то, по крайней мере, оказывать какое-нибудь внешнее внимание... Те из греческих и болгарских влиятельных в городе лиц, которые были нашей партии и более или менее расположены к нам, пришли все сами в эти первые дни познакомиться со мною.

Когда Золотарев уехал, я остался пред целым архивом предыдущих бумаг и донесений, с которыми необходимо было познакомиться, чтобы хотя сколько-нибудь наглядно представить себе страну, ее интересы, положение и страсти, группировку партий, характер тех влиятельных лиц, с которыми мне придется иметь дело и с духом деятельности моих опытных и чрезвычайно способных предместников – Ступина, Шишкина и Золотарева. Я остался один, окруженный политическими врагами, знавшими страну и дела,

которые захотят, вероятно, воспользоваться отсутствием влиятельного консула, уже успевшего приобрести значительный вес и в среде единоверцев, и в Порте, и в глазах своего русского начальства. Я остался с целою грудой неоконченных тяжёлых дел русских подданных, которых, насколько помню, было здесь больше семидесяти; цифра эта вовсе не ничтожная, если взять, с одной стороны, в расчет, что все эти греки, болгары, евреи и армяне, снабженные русскими паспортами, люди торговые и оборотливые, все с расписками, что паспорта свои они всякими правдами и неправдами добыли в Кишиневе или Одессе; все охотники до тяжб и препирательств в судах, и почти всех их турки не признают в принципе русскими; а с другой стороны, если вспомнить, что консул на Востоке (консул всякой державы, а не только русской) в одно и то же время дипломат и нотариус, революционер и консерватор, смотря по нужде, по эпохе, интересам своей державы, по местности. Я же всю молодость мою провел с русскими помещиками, с военными в Крыму и отчасти с литераторами и учеными. Был военным

врачом, жил отчасти помещичьего жизнью, отчасти военного, а потом в Петербурге. Все больше «нараспашку», по-русски, по-офицерски, по-студенчески; жил то старательным и точным доктором, то каким-то свободным поэтом... Но ничем, кроме больничных палат, не управлял и ни над кем, кроме крепостных слуг, фельдшеров и вестовых солдат, не начальствовал... Никого не судил юридически; стесняться в выражениях идей, вкусов и взглядов не привык; никаких нотариальных заметок в книги не заносил и книг таких не видывал; казенными деньгами никогда не распоряжался, а свои очень любил тратить; статистикой никакою не занимался; с иностранцами дел не вел... А здесь нужно было сейчас, сейчас, с завтрашнего дня, быть может, предстать во всеоружии: считать хотя бы и не очень большие казенные деньги, судить, управлять, бороться с иностранцами, остерегаться всех и всего, и при этом быть все-таки смелым и твердым; подданных судить и сноситься с Портой, с представителями западных держав, иногда защищать их с энергией, но и самих этих подданных, не всегда честных и

покойных людей, держать в руках.

Консул на Востоке это в меньшем виде посол, и посол в Константинополе это в большем размере консул. Послы при европейских дворах имеют дело только с государем и министром. Послы при дворах восточных (особенно в Турции) имеют дело и со двором, и с населением, и к своим подданным отношения их гораздо проще в принципе и вместе с тем многосложнее в частности, чем в Европе. В Париже, Лондоне и Вене и т. д., русский посол не мешается прямо в дела судебные; русских подданных судят судами местными по законам страны; точно так же, как французские или австрийские подданные судимы в Москве русскою судебною властью по законам русским... В Турции было иначе, и судебную деятельность наших дипломатов и консулов в Турции можно было в то время разделить на три ветви: русский собственно суд в тех случаях, когда обе тяжущиеся стороны имеют русский паспорт; когда же случались ссоры, столкновения, какие-нибудь гражданские тяжбы или торговые препирательства между подданными русскими и подданными

французскими, греческими, бельгийскими и т. д., то по договорам судило то консульство, которому подлежал не истец, а ответчик. Истец жалуется своему консулу на иностранного подданного; консул подписывает на прошении по-французски «читано» (vu) и препровождает в такое-то (чужое) консульство «pour fins, etc»... а консульство ответчика, получившее эту бумагу или само судило, или чаще назначало смешанную судебную комиссию из почетных и известных в городе лиц, которых тяжущиеся стороны имели, однако, право отвести. Так делалось большею частью в делах гражданских и коммерческих. Уголовные мелкие дела судили довольно патриархально и просто обыкновенно сами консулы. Подданные всех держав строго обязывались к безусловному повиновению. Крупные уголовные дела, особенно убийства, насилия и т. п., случались в Турции как-то редко между иностранными подданными, особенно между нашими. Может быть это потому, что большая часть этих русских подданных во Фракии были все скромные лавочники, мелкие торговцы, еврей-менялы и небольшие банкиры,

учителя болгарские, греки хлебопеки и золотых дел мастера, каменщики и тому подобные мирные и осторожные люди и более или менее буржуазно-настроенные. Впрочем, в Адрианополе было двое севастопольских героев-охотников, оба греки, и один из них хлебопек (которого имя я забыл) был человек весьма энергический и с Георгиевским крестом за храбрость. Но и он жил, как многие герои, по возвращении к пенатам своим очень скромно. У греческих консулов, я понимаю, чаще случалось судить преступников; им были подведомственны: отважные островитяне, пылкие и страстные, жители Морей и Акарнании, стран, в которых молодечество выражается, между прочим, большою охотой к разбою и всяким приключениям...

На Дунае и у нас были уголовные дела серьезнее фракийских, но в Адрианополе, как я сказал, мелких дрязг судебных и полицейских было много.

Я отвлекся этим замечанием и не сказал о главном – о судебных отношениях к турецкой власти. Судебную власть Порты над иностранными подданными державы до послед-

него времени вообще не признавали. Отвержение это, с одной стороны, основывалось на том, что в Турции все дела уголовные и гражданские, по вопросам недвижимости и наследования и т. п. судились по шариату, по Корану муллой и кадием в белой чалме. С другой стороны, как объясняет один из европейских авторов (не помню кто именно), сама Порта находила более сообразным со своими обычаями допустить фактически для иностранцев некую фикцию «экстерриториальности», предположить, так сказать, что их тут и нет вовсе, что они не покидали вовсе своей страны и остаются вполне подведомственными своему начальству, чем в принципе дозволить иностранцам жить в Турции и считать их иностранцами. Мне это объяснение кажется темным и очень натянутым. Слабость Турции, издавна уже вынужденной обстоятельствами и географическим положением своим вести дела с европейцами, не позволяла ей отстаивать свои права на равенство с христианскими державами; вот причина и вот единственное объяснение этому факту. Коммерческий суд (тиджарет), устроенный отчасти по

французскому образцу, хотя и вполне турецкий по внешним формам, державы признавали и в столице, и в провинции; туда ходили судиться и наши подданные в случае торговых тяжб с подданными турецкими (как христианами, так и мусульманами); но драгоман посольства и еще более драгоман консульства были всемогущи в тиджарете и редко случалось, чтобы турецкий подданный, даже и мусульманин, выигрывал бы тяжбу против иностранного подданного.

Все это мне нужно было сразу понять и разом все помнить. Ни служба в Петербурге, ни полгода, проведенные мною на острове Крите, не могли «наглядно» и практически обучить всему этому. В Петербурге я читал много консульских донесений, новых и старых, образцовых и плохих, внимательно просматривал руководства международного права; но в петербургских канцеляриях (или лучше сказать в столичных канцеляриях всех стран) видишь не самую ту жизнь, с которою будешь иметь дело, а лишь «отражения этой жизни», как выразился граф Л. Толстой, говоря про мужа своей героини, Анны Карениной.

Отражения же дальнего востока были в Петербурге особенно туманны, и в самых лучших образцовых, именно сжатых и дельных донесениях и депешах ясны были лишь общие черты наших интересов, лишь голые факты политических событий, разумеется безо всякой врезывающейся глубоко в память «иллюстрации». Крит в то время был только очень важный пост политического наблюдения. наших подданных там было всего одна вдова гречанка, г-жа Ставрала, с тремя красивыми дочерьми. Полгода в Крите были каким-то очаровательным медовым месяцем моей службы; там я гулял по берегу морскому, мечтал под оливами, знакомился с поэтическими жителями прелестной этой страны, ездил по горам и читал от времени до времени умные донесения моего почтенного начальника г. Дендрино, мастерски написанные превосходным французским языком. Больше ничего! Не только подданных и тяжб в Крите не было, но даже и «политического» было мало. Критская жизнь приезжему казалась тогда благоуханною эклогой, непостижимо, однако, грозящею перейти в кровавую народную дра-

му, весенним ясным днем на заросшем цветами поле старых битв, виноградником веселым и мирным на краю утихшего на время вулкана... В Адрианополе было гораздо меньше картинности, меньше души, меньше поэзии, но зато было гораздо больше дела, всякого дела политического и неполитического... Адрианополь был понедельник в школе после сладкого воскресенья на веселой даче.

Надо было в одно и то же время и учиться, и действовать безотлагательно. Я был осторожен, но вместе с тем не сомневался, что, по крайней мере, не испорчу дела Золотарева. Житейский, уже значительный опыт и та привычка к серьезной ответственности, которую я приобрел уже с ранних лет как врач у постели больных, что-нибудь да значит и на всяком новом поприще.

Помню, почти в первые дни моего водворения в Адрианополе я сделал одну невозможную формальную ошибку. Один русский подданный подал мне прошение на греческого подданного. Я воспользовался *читанным* мною в разных Guides Consulaires[3] и т. п. и сказал драгоману нашему Э. С:

– Что же, надо нам смешанную судебную комиссию назначить?

Лукавый Э. С. несколько времени молча смотрел на меня и потом, радостно улыбаясь, сказал: «как прикажете!..»

– Чему же вы улыбаетесь так выразительно? – спросил я, немного смущаясь в сердце.

Объяснив, что надо препроводить бумагу истца в консульство ответчика и что не мне в этом случае, а греческому консулу надо решать, Э. С. прибавил:

– Это еще раз мне доказывает, как я прав, когда глядя на русских консулов, думаю, что Россия посылает их вовсе не для таких пустяков, как все эти тяжбы наших лавочников и судебные комиссии. Я не видал еще ни одного русского, который бы приехал сюда знакомый с торговыми и тяжёбными делами Востока; но зато ни англичане, ни французы, ни австрийцы не могут сравниться с русскими чиновниками в серьезных вопросах высшей политики... Выучиться этим мелочам недолго и ошибиться в них не беда. Но надо, чтобы слава нашего флага гремела, вот цель... И она гремит. У нас старые люди сравнивают Рос-

сию с черепахой. Черепаха хочет напиться в ручье и идет к нему тихо. Вдруг слышит – топчут лошади, кричат люди у ручья... Она сейчас и голову и ноги спрятала; она уже не хочет пить. Утих шум, черепаха опять приближается... И она все-таки выберет час свой и дойдет до ручья. Ручей – это, понимаете, *Босфор*. А шумят европейцы. Вот что нужно... и Россия таких консулов посылает, какие для этого нужны. А не для пустяков.

– Не знаю, – отвечал я, – в народе нашем есть какие-то смутные чувства чего-то подобного; но могу вас уверить, что правительство наше не имеет видов на Константинополь.

– Конечно, – возразил Э. С, – вы обязаны так говорить. Это дипломатия, потому что у *ручья все еще шумит Европа*.

– Нет, право, – продолжал я, – говорю вам искренно. Мне-то самому, признаюсь вам, очень нравится ваша басня *о черепахе* этой. Только я совершенную правду говорю вам, что правительство наше об этом не думает. По крайней мере, я не слыхал.

– И это дипломатия хорошая, что вы так просто и так искренно говорите... И черепаха

дойдет до ручья непременно!..

Я засмеялся и больше не спорил... На Востоке невозможно, по крайней мере, было невозможно в то время ни друзей, ни врагов наших разубедить в том, что главная цель всей политики нашей есть завладение Царьградом. Надо помнить это; надо помнить, что как бы мы ни были бескорыстны, никто нашему бескорыстию не поверит и все будут действовать против нас, как будто бы наши только подозреваемые замыслы доказаны были, как несомненный факт. О мудрости и дальновидности нашей политики составилось везде такое выгодное понятие по примерам прежнего, что никто и не может верить, будто бы мы в самом деле наивны, будто бы мы слишком уж простодушно дорожим общественным мнением Запада и т. п...

Я сказал, что положение Адрианопольского консульства было без прибавления блестящее, когда я приехал им управлять в конце 1864 года. Мне предшествовали один за другим замечательные консулы: Ступин, Шишкин и Золотарев. Ступин и Золотарев уже умерли оба, а г. Шишкин теперь посланником в Соединенных Штатах.

Они все трое были очень влиятельные и способные люди, но вовсе не были похожи друг на друга ни воспитанием, ни характером, ни родом памяти, которую они оставили в стране. Гг. Шишкин и Золотарев были люди светские, молодые, с хорошими средствами, благовоспитанные, приспособленные уже для настоящей дипломатической службы при посольствах и с широкою дорогой впереди. Ступин был человек небогатый, семейный, довольно грубый, пожалуй, и даже видом своим походил гораздо менее на дипломата, чем на храброго и сурового армейского полковника.

Бледный и сухой, но крепкий с виду, белокурый, с одними усами без бороды, взгляд

строгий и покойный... Я его видел в Петербурге. Он тогда был не то чтобы в опале, а как бы под следствием; его влияние и неслыханная популярность возбудили против него целую коалицию иностранцев, и наше тогдашнее посольство, поддавшись их внушениям, удалило Ступина временно из Адрианополя. Ступин поехал в Петербург и оправдался. Это было именно в то время, когда я только что поступил на службу в Петербурге. Об истории его говорили в министерстве, но так, как обо всем говорят в Петербурге, мимоходом, пусто, легко и с шуточками.

Иначе относились к этому делу христиане во Фракии: там смотрели на Россию, на чиновников русских, на слуг русского царя серьезно, говорили о них скорее уже с трагическим или эпическим оттенком, чем с комическим.

Наше юмористическое балагурство, наше легкомыслие в разговорах о государственных делах и государственных деятелях там неизвестно. На Востоке совсем не тому и не над тем смеются, над чем смеются у нас. Остроты там мало; остроты и насмешки там не

забавны, не остры; это, конечно, иногда очень скучно в общественной жизни; но есть, однако, в этом недостатке и прекрасная сторона, – некоторая простота и серьезность взгляда на государственные отношения, на службу казенную и тому подобные предметы. Там, например, постичь не могли бы, как это можно так подтрунивать над чинами и орденами, как делают у нас именно те, которые ими украшены. Если кто-нибудь и окажется там в этом отношении настолько искренним приверженцем равенства, что ордена и чины ему нежелательны и неприятны как выражения монархизма, то он будет чувствовать к ним враждебное чувство серьезного характера, то никакое шпыняние 1а Щедрин чиновников с их знаками отличия на Востоке и в голову не придет. В этом отношении большинство восточных христиан больше сходно с нашими прежними дворянами, которые гордились своею службой, заслугами, орденами, которые готовы были, как говорили у нас насмешники, «спать в орденах», а не стыдились их и не подтрунивали над ними, как делают у нас теперь.

Прибавлю еще, что в Адрианополе в то время все самые влиятельные лица города были люди самого охранительного направления, – как болгары, так и греки, – и все более или менее русской партии. Понятное дело, каким восторженным тоном они говорили о Ступине, которого боялись не только турки, но и местные консулы из католиков, все эти богатые и бесчисленные *Бадетти* и несметные *Вернацца*, которыми кишел православно-турецкий город (об этих *Бадетти* и *Вернацца* я поговорю после подробнее).

Le grand consul![5] *Омегас проксенос!* Так звали христиане Ступина.

Радость была велика, когда узнали, что Ступин оправдался в Петербурге, что его повысили, назначили генеральным консулом в Тавризе (в Персии) и пожаловали даже ему землю в одной из отдаленных губерний наших (в аренду или собственность – не знаю). Рассказывали с гордостью, будто бы сам князь Горчаков по поводу обвинений, взводимых на Ступина, выразился так: «Я никогда не поверю, чтобы русский консул делал все то, в чем его обвиняют. Все это клевета!» При

этом с тонкою таинственностью во взгляде восточные люди прибавляли одобрительно: «*Не хочет дядя Горчаков верить!*»

В чем же обвиняли Ступина *враги* и за что так любили его доброжелатели России во Фракии?

В эфирской хронике моей *Одиссей Полихрониадес* я кратко и мимоходом описал Ступина под именем Бунина.

Об этом Бунине рассказывает некто Хаджи-Хамамджи, фракийский купец и оратор. Хаджи-Хамамджи тоже лицо, без прикрасы списанное с действительности. Это точно был *фракийский* негодичант *Хаджи-Кириаджи*, родом фессалиец и один из самых приятных, добрых, умных и занимательных греков, известных мне в Турции. Он был богат и, несмотря на легкомыслие свое, доходившее иногда до ребячества, благодаря уму, начитанности своей и богатству, был очень влиятелен. И он умер недавно. «Проходит образ мира сего», образ этого восточного мира, знакомого нам и привычного... Посмотрим, что будет теперь при новых обстоятельствах и новых людях!

Чтобы не повторять одного и того же по разным сочинениям, я лучше «цитую» сам себя. Когда я писал эту часть *Полихрониадеса*, Хаджи-Кириаджи был еще жив, и я не мог в истории полувывымышленной ни его по имени назвать, ни Ступина.

Вот что говорит про консула Бунина фракийский оратор. Он сравнивает, между прочим, род его энергии с энергией французских консулов.

«Хаджи-Хамамджи откашлянулся, расправил бакенбарды и, став величественно посреди комнаты, продолжал речь, которую видно я на миг прервал моим приходом.

– Итак, я сказал – (начал он, делая томные глаза и все играя бакенбардами), – я сказал, что русские бывают нескольких и даже очень многих сортов. Прежде всего *великие русские*, потом *малые русские*, иначе называемые у нас на Дунае. И *Хохолидес*. Есть еще русские – германцы; люди неплохие, подобные Дибичу Забалканскому, и наконец есть еще... особые русские, издалека откуда-то из Уральских гор, *уральский русский*. Таков был, например, у нас не господин Петров, который там недав-

но, а его предместник, господин Бунин... Я даже спрашиваю себя, зачем это Бу-нин... – нин!.. Настоящий русский должен быть ов и ев... Прежде всего ов. Этот господин Бу-нин не имел в себе того некоего тонкого и вместе с тем властительного вида, который имеют все благородные великоруссы, даже и те из них, которые не богаты. Таков был, например, предместник господина Бунина, генеральный консул мсьё Львов. При нем о господине Бунине никто не слыхал у нас; он жил в глухом и безвыходном переулке, и как Львов заговорит с ним, он вот так (Хаджи-Хамамджи вытянулся и руки по швам). А как уехал Львов и назначили его... Что за диво! думаю я, Бунин там... Бунин здесь... Бунин наполняет шумом весь город... Бунин в высокой косматой шапке... У Бунина по положению четыре каваса-турка, в турецких расшитых одеждах с ножами... да! А сверх положения десять охотников из греков, в русской одежде и в военных фуражках. Бунин идет к паше – пять человек направо впереди, пять человек налево... а Бунин сам в большой шапке. Мсьё Бунин здесь, говорю я, мсьё Бунин там! Сегодня он с беями

друг и пирует с ними; завтра он видит, что бей слишком обидел болгарина-поселянина; он берет самого бея, связывает его, сажает на телегу и со своим кавасом шлет в Порту связанного... и турки молчат! Сегодня Бунин болгарскую школу учреждает; завтра Бунин едет сам встречать нового греческого консула, которого назначили нарочно для борьбы против него, против панславизма в тех краях, и сам готовится ему квартиру. Сегодня Бунин с пашой друг, он охотится с ним вместе; ест и пьет вместе... «Паша мой!» Завтра он мчится в уездный город сам верхом с двумя кавасами и греками-охотниками; входит внезапно в заседание меджлиса. Мудир встает. Раз, два! две пощечины мудиру, и Бунин на коня и домой. И с генерал-губернатором опять: «Паша мой! паша мой!» «Что такое? Что за вещь?» Вещь та, что мудир прибил одного болгарина, русского подданного, а паша слишком долго не брал никаких мер для наказания мудира. Понимаете? «Мы с пашой все-таки друзья! Зачем мне на него сердиться? Он бессилен для порядка, для строгого исполнения трактатов, обеспечивающих

жизнь, собственность, честь и подсудность иностранных подданных, так я сам буду своих защищать!...» А? что скажете вы, не Уральские это горы?..

Так, кончив рассказ свой, спросил Хаджи-Хамамджи с удовольствием, как бы сочувствуя этому уральскому духу Бунина.

Исаакидес был тоже очень доволен этим и сказал:

– Таких людей здесь надо!

Но Несториди заметил на это так:

– Что тут делать Уральским горам, добрый вы мой Хаджи-Хамамджи! У нас Бреше из Парижа, такой же...

Хаджи-Хамамджи выслушал его, приклонив к нему ухо, и вдруг, топнув ногой, воскликнул:

– Не говорите мне о французах! Извольте! Скажите мне, Бреше пьет раки с беями турецкими, так что до завтрака он более византийский политик, а после завтрака более Скиф?

– Нет, не пьет; он почти и не видит у себя турок, – сказал Несториди.

– Извольте! – воскликнул Хаджи-Хамамджи: – А мсьё Бунин пьет. Бунин пьет! Бреше

сидит у порога простой и бедной хижины за городом, входит в семейные дела болгарского или греческого земледельца или лодочника, мирит его с женой?.. Отвечайте, я вас прошу!

– Ну, нет, конечно... – отвечали Иссакидес и Несториди.

– Извольте! А мсьё Бунин сидит у бедного греческого и у бедного болгарского порога и говорит мужу: «Ты, брат, (видите *брат, брат!*) тоже скотиной быть не должен и жену напрасно не обижай, а то я тебя наставлю на путь мой, и пойдешь ты по истине моей!»... Извольте! Бреше строит сам православный храм в селе подгородном? Бреше везет ли сам тачку? Роеет ли землю лопатой для этого храма?.. Я за вас отвечу – нет! У Бреше дом полон ли друзей из болгар и греков?.. Я вам отвечу – нет! К Бреше просятся ли в кавасы разоренные сыновья богатых беев, которых имен одних когда-то трепетали мы все?.. Просятся ли в кавасы обедневшие дети тех самых янычар, на которых султан Махмуд до того был гневен, что на каменном большом мосту реки Марицы, при въезде в Адрианополь, обламывал граненые главы столбов, украшавших

мост, когда он проезжал по мосту этому? Да! чтобы даже эти граненые главки не напоминали ему чалмы и колпаки янычарских могил... а к Бунину просятся!!..

Хаджи-Хамамджи кончил и сел отдохнуть на минуту. Все молчали в раздумьи».

Во всем этом рассказе нет ничего преувеличенного. Я сам слышал все это от многих людей в Адрианополе: от драгомана нашего, грека Эммануила Сакелларио, от его двоюродного брата Алеко; от болгарина доктора Найденовича; от Хаджи-Кириаджи, который действительно звал Ступина *уральским* русским и был еще не так восторженно доволен им, как другие, потому что предпочитал дипломатов *тонких по формам*.

Когда я приехал в Адрианополь, везде были еще видны следы Ступина; всем были памятны и дороги рассказы и анекдоты про его выходки, про его смелость, ум и влияние. Никогда не оскорбляя грубо греков и тем более высшее духовенство их, он поддерживал болгарские требования в разумных и умеренных пределах, поддерживал болгарские школы, хлопотал о славянском богослужении в неко-

торых церквах. Дружась и сближаясь с богатыми турецкими местными беями, он этим самым умел приносить и христианам иногда косвенную пользу в разных делах. Старым туркам, несмотря на весь наш исторический с ними антагонизм, русские люди *старого стиля* вообще очень нравятся... Им нравились патриархальная простота и доброта Ступина, соединенная с суровостью и энергией. Ступин был гостеприимен и ласков с ними. И туркам и христианам Фракии нравились простота обращения, доступность Ступина, и вместе с тем нравилась и та несколько воинственная важность и пышность, которую он умел себе придавать всеми этими турецкими кавасами и полурусскими вооруженными охотниками *в два ряда*, с которыми он делал визиты.

Им нравилось (и основательно!) в этом человеке барское соединение внешней, почти азиатской эффективности с душевною простотой... Им нравилась истинно старорусская эта черта... Это и мужику русскому очень нравится. Ненавистно и тяжело и чуждо и восточному человеку и русскому мужику – холодное, сухое *джентльменство*, притвор-

но-вежливое, простое только с виду.

Ступин оставил, говорю я, много следов в Адрианополе. В центре города есть *Святогробское* Иерусалимское подворье. Желая доставить больше возможности болгарам молиться в церкви по-славянски, он выхлопотал от Иерусалимского патриарха особое разрешение, по которому Святогробское подворье делалось чем-то вроде консульской церкви, церковью для семейства русского консула. Литургия совершалась наполовину по-гречески, наполовину по-славянски; Апостол и Евангелие всякий раз читались на обоих языках, на клиросе пели болгарские и греческие мальчики русским, а не восточным напевом. Сама супруга г. Ступина обучала их нашему пению с помощью фортепиано. Правда, адрианопольские болгары при самом начале этого устройства не очень охотно ходили в церковь Иерусалимского подворья. Но это уж не вина Ступина; это лишь небольшая его ошибка. Надо правду сказать, многие из нас, русских, не совсем так понимали болгар при начале их церковного движения. Мы думали, что они гораздо простодушнее, гораздо искреннее в

своим *чисто мистическим* желанием слышать Слово Божие на родном языке (или лучше сказать на церковно-славянском, все-таки более греческого им понятном). Мы думали о них *сентиментальнее*, чем нужно было думать, нам казалось, что если только запоют в какой-нибудь церкви по-славянски, то болгары и будут счастливы.

Но движение болгарское было, разумеется, с самого начала не в руках простого народа, в самом деле довольно набожного, но в руках купцов, докторов и учителей «мудрых яко змии», но на «голубей» не похожих, и при всей своей недоученности весьма «либеральных» в идеале своем.

Ступин, лично сам богомольный русский человек, вероятно, любил литургию православную, прежде всего для молитвы, для известного удовлетворения сердца. Он был именно из тех русских людей, которые, раз поняв хоть сколько-нибудь греческий язык, с чувством и на этом языке готовы слушать церковное богослужение, и не только слушать, но готовы даже и вспоминать беспрестанно при этом, что все или почти все в на-

шем православии: догматы, уставы, богослужение, поучения великих отцов взято с этого самого языка византийцев. Болгары же очень скоро стали говорить про Иерусалимское подворье: «На что нам это? Это не собственная, не национальная, не болгарская церковь, это церковь русская!»

Но это, повторяю, уже не вина Ступина; это только понятная ошибка; он думал, что болгары проще сердцем и в самом деле прежде всего хотят понимать слова и молиться!

Зато для тех русских консулов, которые чувствовали потребность бывать в церкви не только для народа, но и для себя, Иерусалимское подворье было большим утешением, в особенности *русское пение!*

Я знаю, что другим невозможно с полной силой передать то чувство, которое волнует нас при некоторых воспоминаниях... Я думаю, что и род чувства и сила его передаются другим удачно лишь музыкой или стихотворного речью, к которой теперь, мне кажется, люди совсем утратили способность... Что значит для другого *это Иерусалимское подворье в*

Адрианополе?.. Но для меня это живой образ и живое чувство лучших дней...

Я все помню. Помню архимандрита, высокого, черного, худого, которым и я был недоволен, и все... Добрый Кирилл, митрополит Адрианопольский, звал его по-славянски «хладный человек». Потом патриарх его сменил. Жил тут при храме старик грек, седой, низенький, иконописец и певчий, в церкви всегда стоял по-старинному в чалме, то есть в феске, обвязанной темным платком. Снимал он ее только в самые торжественные минуты литургии. Мне нравилось, что я без шапки, а он в шапке; мне все, кажется, тогда нравилось... Я очень беспокоился всегда о том, не горюет ли старик, что ему за русским пением остается мало простора для тех странных и бесконечных греческих трелей, к которым он привык, и радовался, когда он каждый раз пел по-своему в нос и так крикливо причастную молитву. Я даже нарочно, чтоб утешить его, делал ему изредка визиты и хвалил его плохие иконы...

Детей и отроков певчих я помню также хорошо; я лица их вижу, какая была на каком

одежда, я помню. Вот изо всех сил старается угодить мне громким пением маленький грек Костаки; он мне тезка: он очень мил собой, белокурый. Изредка оглядывается на меня: «одобряет ли консул?» Вот сын того самого старого певчего в чалме, этот больше брюнет, курчавый, тихий, скромный. Вот ужасно дурнолицый мальчик; голова острая, лицо темное, узкое, глаза непонятные, странные какие-то. Это болгарин, сын знаменитого интригана Куру-Кафы, одно время вождя болгар-унитов в Адрианополе; но мы таки и отца переманили на свою сторону, и сыночка перевезли к себе из унитской церкви, где он долго пел.

Я ошибся сказав, что мне все нравилось. Нет, одно мне очень не нравилось: мне было очень противно, что все эти дети болгарских и греческих горожан были одеты европейскими пролетариями. На хорошеньком Костаки серая жакетка; у певческого сына долгополый черный сюртук, и его отроческая шея обмотана самым безобразным огромным черным галстуком; маленький страшный Куру-Кафы тоже в одежде «интеллигенции», и воротник

его скверного сюртука очень сален... (Может быть теперь он *депутатом* в Болгарии... Кто знает?)

Гораздо милее городских детей и чище с виду были маленькие сельские болгары, которых иногда заранее припасал откуда-то заботливый драгоман наш, чтоб они преемственно учились здесь петь по-русски. Эти сельские дети были очень оригинальны и опрятны; в национальной одежде из несокрушимого темного сукна домашней работы, с бараньими шапочками, которые мы им приказывали в церкви снимать, они стояли так скромно и чинно, склонив до половины свои обритые головки... Но не знаю отчего они скоро куда-то исчезли, а городские пролетарии наши оставались нам верны и пели.

В большие праздники, впрочем, и они были одеты получше. При церкви были маленькие старые стихари, нарочно для них сшитые, кажется еще при Ступине. Архимандрит иногда одевал их в эти стихари, на Пасху, например. Но из экономии это делалось редко. Я мучился, чтобы стихарики эти были светлее, складнее сшиты и красивы и чтобы дети-пев-

чие надевали их всегда. Я обращался тогда к нашим посольским дамам, просил старых шелковых платьев, но не допросился... Кому, впрочем, до этого дело?.. Я сказал, что свое чувство передать другим очень трудно...

Ступин, однако, не зная меня, передал мне многие из чувств своих наглядно, своими со-зданиями...

Когда эти, с виду, положим, и изуродованные, но все-таки греческие и болгарские еди-новерные мне мальчики под конец обедни так громко восклицали: «Тебе поем, Тебе бла-гословим, Тебе благодарим, Господи, и мо-лимтися, Боже наш!» – восклицали тем са-мым напевом, который мы привыкли слы-шать в Москве, Орле или Калуге, то сердце невыразимо веселилось и в самом деле хоте-лось славить и благодарить Бога за то, что слышишь это радостное родное пение среди города мечетей, пестрых шальвар и шелко-вичных садов! Замечу, что болгарам, привык-шим к напеву греческому, этот русский напев не очень нравился.

Было еще одно место около Адрианополя – болгарское село Демердеш, где сохранились

видимые памятники жизни и деятельности Ступина. Там есть дом, построенный им для себя, вроде дачи, и впоследствии перешедший во владение болгарского училища, и есть церковь, также им воздвигнутая.

Это село Демердеш до Ступина было не село, а простая болгарская деревня. До нее не более получаса скорой ходьбы от Адрианополя. Надо пройти два старых моста, чрез узкую Тунджу и широкую Марицу. Сейчас за последним мостом, направо, стоит несколько больших развесистых старых тополей (не серебристых и не пирамидальных, а других каких-то); около этих прекрасных деревьев, в широкой тени которых часто отдыхали пешеходы и разводили, я помню, иногда огонь какие-то бедные люди, песчаная дорога расходится в две стороны. Правее, чрез обширные плантации шелковицы, идет широкий путь в большое село Карагач; налево пропадает за кустами другая дорога, поуже и посмирнее первой... Это дорога в Демердеш.

Карагач несравненно богаче, чище и... противнее. Это маленький городок, много «архонтских» белых богатых домов; это Соколь-

ники или Петровский парк Адрианополя... Там отдыхает жарким летом после коммерческих трудов, политикует и толстеет скучная местная *плутократия* всех исповеданий (кроме мусульманского), католики, евреи, может быть, есть и армяне, но больше всего католики. Есть и православные дома. Болгарские хижины первоначального селения совсем почти не видны за высокими купеческими постройками... об них забываешь... Есть даже католическое кладбище. Карагач вовсе не похож на деревню. При богатых этих домах есть, впрочем, очень хорошие сады; цветы цветут; есть красивые, свежераскрашенные прохладные киоски с мраморными фонтанами, которые *иногда заставляют бить для гостей*... Когда я заехал к одному иноверному торговцу (родом англичанину, но подчинившемуся всем местным обычаям), хромая, толстая супруга его и весьма неинтересная его дочка повели меня тотчас же в киоск. У них киоск был маленький, старый, полукруглый какой-то, не такой хороший, как у красного, высокого апоплектического Бертоме Бадетти (прусского и датского *consul honoraire*) и не

такой, как у бледного, низенького и очень толстого Петраки Вернацца (италианского *consul honoraire*). Мы сели... Вдруг старый киоск задрожал, заходил, затрепетал весь над нами... Я изумился... Вижу, хозяйка спокойна... что такое?.. Пред нами взвился фонтан. А за спиною нашею все что-то ходит и ходит. Все стучит и стучит... И киоск тоже так и ходит, «strapazirt», как говорят австрийские кельнеры на тех пароходах Ллойда, которые поплосе, трещат и трепещут во время непогоды и волны...

Вся эта возня и весь этот шум были затеяны хозяйкой в честь русского гостя. Вплоть за стеной киоска какая-то водовозная лошадь работала над каким-то колесом... а «жемчужный фонтан» бил предо мной совсем по-восточному!

Вот Карагач. Надо сознаться, что и наша единоверная и единоплеменная «интеллигенция» с точки зрения поэзии в том же роде. Даже досадно на эти фонтаны и благоухающие цветы, когда видишь пред собой какого-нибудь «epicier»[6] в старых панталонах, в жилете и «en manches de chemise!»[7] Это ужасно!

Ламартин был проездом в Карагаче и остановился у Петраки Вернацца... Неужели он не страдал?.. Он, который написал *Грациеллу* и *Озеро!*.. Нет, он страдал здесь в глубине души... и эта душа его отдыхала, вероятно, только на чем-нибудь азиатском или на темном болгарине, смиренно пашущем за деревней в синей чалме, или на каком-нибудь турецком всаднике, у которого шальвары светло-голубые, а куртка пунцовая и откладные рукава летят на скаку в обе стороны... Пусть всадник тиран, а пахарь жертва... Ламартин и тогда еще, в начале сороковых годов, советовал европейским державам приступить к разделу Турции. Он говорил (в конце своего *Путешествия на Восток*), что у турок много личных достоинств, утраченных христианами в течение вековой зависимости; но государство турецкое расстроено глубоко и должно пасть; он делил северную, европейскую часть Турции между Россией и Австрией; южные: африканскую и азиатскую части ее вручал Великобритании и Франции... Он предлагал не совсем то, что мы видим теперь, но почти то же самое. Люди с сильным воображением гораз-

до дальновиднее чисто практических людей; несчастье их именно в том, что они понимают все слишком рано.

Ламартин предлагал раздел Турции; но не потому ли, между прочим, заботился он об освобождении свежих народностей Востока, что ему европейская прогрессивная буржуазия опротивела донельзя и довела его даже до перехода в лагерь социалистов.

Он предлагал европейцам делать социалистические опыты на этой девственной почве Востока; опыты, по его мнению, очень опасные и трудные в старых государствах Запада... Ламартин, быть может, надеялся, что при ближайшем соприкосновении новейших западных учений с восточною мистикой и азиатскою патриархальностью произойдет нечто подобное тому, что случилось у барона Мюнгаузена с лошадю и съевшим ее волком. Барон Мюнгаузен, как известно, приехал в Россию в санках одиночкой. Дорогой напал на него огромный волк. Когда этот волк был уже настолько близко, что ускакать от него не оставалось надежды, барон нагнулся; волк в порыве бешенства перескочил через него,

впился в зад лошади и начал ее есть. Барон его долго не трогал, но когда волк дошел уже до головы лошади и, пожирая ее *дотла*, мало-помалу сам на ее место входил в построумки, барон вдруг ударил его кнутом. Волк испугался, рванулся вперед и... попал в лошадиный хомут... Барон Мюнгаузен продолжал стегать его и волк прекрасно довез его до города.

Конечно, Ламартину нравилось на Востоке именно все *неевропейское* и он, вероятно, надеялся, что если именно *крайнее*, самое передовое, еще не выяснившееся на самом Западе перенести сюда, в эти пастырские и столь живописно уснувшие страны, то произойдет нечто дивное и восхитительное. Европа (совокупность держав) – волк; Турция (как государство) – лошадь. Европа, умертвив Турцию, попадет сама в азиатские построумки и станет опять живописна и поэтична, как она была в старину, хотя и в новой форме...

Отрицательная сторона надежд и пророчеств французского поэта-политика осуществляется на наших глазах; что же касается положительной... возникновения чего-то

нового, консервативно-творческого, живописно-движущегося вперед, то до сих пор мы этого не видим.

Сама Россия во всем, начиная от общей политики и кончая бытовым влиянием своим, является на развалинах Турции до сих пор не особою, независимую и своеобразною силой, а лишь самую скромную представительницей общеевропейских идей, европейских интересов, западных обычаев и вкусов...

Но это видим теперь *мы!*.. А раньше, не только в то время, когда русские войска, союзные султану, угрожали египетскому вице-королю и Ламартин смотрел на них задумчиво на берегах Босфора, но и позднее, в то время, когда наш Ступин господствовал в той самой восточной Румелии, из которой нас удаляют теперь в награду за наш европеизм, тогда ему точно было обо многом можно мечтать...

И можно ручаться, что Ступин, этот простой русский человек, мечтал много о Востоке, живя и молясь в уединенном, зеленом и унылом Демердеше... Для того чтобы мечтать, особенно о судьбах отчизны своей, вовсе не нужно быть знаменитым поэтом.

Я уверен, что и Ламартину все эти европейцы в Азии, все эти тяжелые, тупые и лукавые коммерсанты Карагача были очень противны сравнительно с его идеалом; но для Ламартина была во всех этих Бадетти и Вернацца одна черта, которая могла ему нравиться и как политику, и в иные минуты даже как поэту. Все это горячие, по-видимому, верующие католики. Это могло быть Ламартину приятно.

Но что мог чувствовать при встрече с этими скучными людьми русский человек? Они скучны в обществе; они враги в политике.

Когда русский человек посещал приятного соперника, занимательного пашу или умного и живого англичанина, ему было весело. И он мог забыть на время всю эту международную борьбу. Когда этот самый русский человек посещал скучные, однообразные дома по-европейски уже образованных болгар и греков, он видел на стенах их приемных портреты наших государей, портреты Паскевичей и Дибичей, он видел преданность России, доверие к себе... И острота скуки его, истинно страдальческой, смягчалась уважением, услаждалась

любовью... Он забывал, что есть иная, собственная жизнь, живая, страстная, полная ума, и сидя долго-долго в темном углу на длинной и покойной турецкой софе, при свете нагоревшей сальной свечки, он беседовал с преданным хозяином о прежнем «страхе янычарском», о надеждах на Россию и шансах неизбежной борьбы; собирал пустые и почти всегда верные сведения, принимал нередко в высшей степени полезные советы... а единоверные дамы в платочках – мать, сестра, теща, дочери – почтительно безмолвствовали, зевали и часто даже засыпали по другим более отдаленным углам... Вообще замечу, что делается гораздо легче, когда хозяйка дома, болгарка или гречанка, уйдет из комнаты и оставит вас одного с деловым и умным своим мужем.

Главные представители европейской колонии, богатые, зажиточные негоцианты – почетные консулы; они имеют флаги и мундиры для праздников. Они все консулы и вице-консулы: Дании, Бельгии, Голландии, *прежней* Пруссии, *прежней* Италии и т. д... Их очень много, все они родня и различить их

сначала трудно: Бертоме Бадетти, Петраки Вернацца, Франсуа Бадетти, Франсуа Вернацца, Антуан Вернацца, Фредерик Вернацца, Петраки Бадетти, Бертоме Вернацца, Жорж Бадетти, Жорж Вернацца.

Православные люди Адрианополя их ненавидели. В двадцатых годах, во время борьбы греков за независимость, турки убивали тех из христиан, которых они подозревали в сочувствии движению. Случалось, что на улице раздавались раздирающие крики или самих избиваемых, или, может быть, их матерей, жен и детей. Испуганные женщины и дети католических семейств бросались к окнам, но отцы Бадетти и Вернацца отзывали их, говоря равнодушно: «оставьте, *это ничего, это ромев режут*»; по-гречески с неправильным произношением «*яш-поте! тусромеус кофтун!* вместо *коптун*. (*Ромеи* – христиане, так звали в старину всех христиан *Румелии*, не отличая болгар от греков).

Этого *типотé* (ничего!) не могли простить им те именно православные, которые к нам, русским, особенно благоволили; они звали европейскую колонию «Мышиным гнездом»,

то понтикопечи!

Что же было делать нам, русским? Что было делать Ступину в этом *гнезде*, в этом очаге враждебной нам пропаганды? В городе эти люди, в пестрой толпе иного населения, не так бросаются в глаза; в Карагаче они на первом плане.

Ступин по этому одному уже мог предпочитать скромный и тихий Демердеш, и я согласен с его вкусом. Карагач – противное плутократическое предместье; Демердеш настоящая деревня. И при мне тут было просто, а во время Ступинского господства было, вероятно, еще проще. Вокруг унылое, ровное поле; какие-то баштаны сзади; недалеко где-то в стороне бедное сельское кладбище; маленькие кресты, болотце какое-то зеленое-презеленое, свежее, и около болотца и кладбище. Много больших тополей с беловатыми и серыми стволами, что-то вроде наших осин, только гораздо красивее. Кустики... По свежему болотцу тихо ходят аисты, и лягушки кричат в канавках точно так же, как у нас в России. В другом месте, более людном, их крик не привлек бы внимания, но в этой тишине,

среди ровного и унылого поля, около бедного кладбища «безыменных» людей, вблизи этих «серых» болгарских хижин, крытых старою черепицей, здесь эту песню, знакомую еще с детства, слушаешь так охотно.

На правую руку от деревни, у дороги в городе стоят развалины покинутой небольшой мечети. Бедный минарет, на который еще можно было в мое время всходить; двор, обнесенный грубою и полуразрушенною каменного оградой; на дворе с весны густая высокая трава.

Сколько раз, живя в Демердеше (в самом Ступинском доме), уходил я сидеть на этот заросший романтический двор, и сколько я там передумал и сочинил такого, что никогда напечатано не было и не будет!.. Сколько я мечтал (не о себе самом только, о нет!) о славянстве, о судьбах России... Думал о наших художниках, которые тогда на Восток совсем не ездили... Воображал вот такую картину: что-нибудь вроде Демердеша; сероватое поле, с одной стороны чудные, беловатые с пятнышками, толстые, сочные стволы тополей (не пирамидальных; эти как-то сухи, искусственные

точно; они хороши лишь издали, возносясь высоко над морем другой зелени...); у подножия тополей желал бы видеть болотную зелень, и чтобы она была как можно зеленее, веселее, ярче. Молодой болгарин задумчиво пашет плугом на волах. На голове его темно-синяя чалма, шальвары и куртка темные. По плечам из-под чалмы падают русые кудри. Он распахивает новую почву жизни, которой урожай еще неизвестен... А сзади – эта сельская старая и покинутая по бесплодью мечеть: мусульмане вымирают, эти камни, этот двор безгласный, заросший так густо, так таинственно! Сколько было бы души в этой простой картине, сколько исторического смысла! Я желал бы еще, если возможно, чтобы на сырой зелени болотца было несколько желтых цветов, а где-нибудь около развалин мечети цвел бы самый яркий, самый красный дикий мак...

Так я мечтал бесплодно, но невыразимо наслаждаясь этими мечтами, в этом милом Демердеше... Одно уже то было блаженством, что здесь очень редко появлялись члены какой бы то ни было «интеллигенции», враж-

дебной или дружеской, все равно с точки зрения изящного!., *право* все равно!..

Может быть, я ошибаюсь, но все-таки повторю: я *верю*, что и бедный Ступин мечтал здесь в Демердеше о чем-то. Быть может, я мечтаю картиннее; но думать, что практический и пожилой человек, похожий с виду на храброго армейца, мечтать не может, было бы так же глупо, как предполагать, с другой стороны, что я, например, не мог хорошо служить и распоряжаться оттого, что в свободные часы сидел и ходил, размышляя и сочиняя, один по двору покинутой мечети...

Если у делового человека видно в делах его творчество, видна изобретательность, то конечно у него есть и воображение... У Ступина воображение было; это видно по всему: мне говорили друзья его, что он одно время хотел все Евангелие переложить русскими стихами... Бедный, бедный Ступин! Сколько начинаний, сколько борьбы и какая ранняя смерть!..

В Демердеше он построил себе дом и церковь для болгарских селян и зажил было тут чем-то вроде властного, но способного и по-

лезного русского помещика.

Дом этот не велик и не мал, средний, в два этажа; на дворе по-русски: ворота, ставни, крыша выкрашены были (в мое время) тем темно, очень тёмно-красным или красновато-коричневым цветом, которым любят красить на Востоке иногда даже целые дома; на Афоне почти на всех лесных, особых келлиях этим цветом выкрашены двери, навесы, столбы на балконах и т. д...

Церковь тоже скромная; насколько помню, снаружи чуть ли не голубоватая; пол глиняный, иконостасик небогатый, обыкновенный, *тамошний*, просто масляными красками пестровато раскрашенный.

Эта церковь стоила Ступину много хлопот; у селян денег было мало; турок, бей какой-то чему-то мешал: деньги дали друзья России и консульство; бея Ступин угощал и уговаривал; наконец уговорил.

Тут-то он сам лопатой рыл землю и сам тачку возил.

Нам, преемникам его, было приятно бывать в этой церкви; я даже Великим Постом любил уезжать говеть сюда из города с одним

только кавасом-турком в небесно-голубой одежде, глупым, худым как щепка, но добрым и преданным Али... (жив ли он несчастный?)

Голубой и по-своему верующий Али не портил мне поэзии говенья так, как мог ее испортить и видом своим да и взглядами секретными, скрытыми от толпы, даже блаженный друг консульства Манолаки Сакелларио, полагавший, например, что я верить в бессмертие не могу, потому что я медицине учился.

Мне было весело молиться на глиняном иолу Демердешской церкви с простыми болгарями; что же должен был чувствовать иногда сам демердешский строитель, воинственный этот Ступин?..

Я думаю, ему там иногда было очень от-рад-но, со своею семьей в своем доме, с болгарскими мужиками и в церкви им самим воздвигнутой, в виду той распавшейся мечети, о которой я писал, вблизи от всех этих тополей и зеленых уголков, где, точно как у русского барина в родимой сажалке за садом, так громко и приветливо, так восторженно в иные дни квакали лягушки!

Конечно и в Демердеше не во всем была одна лишь эклога, не всегда царила любовь и единение православных сердец!.. Не все только травочка зеленела, не все только лягушечки квакали... И тут злились люди и злились даже чрез этого самого легендарного Ступина. Но как злились?..

Я говорил, что у демердешских болгар недоставало денег для постройки церкви и Ступин выхлопотал им займы для этого довольно значительную сумму у богатых горожан единоверцев. Я вспоминаю при этом с улыбкой, как наш верный драгоман грек все тот же Манолаки Сакелларио при мне уже все ворчал, что демердешские болгары под разными предлогами не платят ему денег, взятых ими у него для этой церкви при посредничестве Ступина. Болгарские мужики лукавы; они понимали, что Манолаки не хочет судиться с ними у турок, чтобы не унижить память Ступина этим скандалом, и не платили. Помню, сидит Манолаки бледный, бритый, с усами, хитрый, востроглазый такой, сидит в своем теплом поношенном, нескладно-европейском пальто и тихо злится;

а против него тоже сидит старик демердешский болгарин (Брайко), нечто вроде солидного мироеда средней руки, в опрятной куртке и шальварах из толстой коричневой абы и в бараньей шапке, тоже хитрый, тоже с выдержкой, тоже с жесткими усами и тоже смиряется. А бедный Манолаки между Сциллой и Харибдой; тут деньги – *деньги*, которые он так любил и которые ему очень нужны, а там тень Ступина, призрак «великого консула», «великой России», которую он тоже так чтит и любит... Так и не судился, по крайней мере, при мне; идеализм побеждал корысть у этого человека, в котором хитрый купец удивительно сочетался с глубокоубежденным политиком.

Что этот главный помощник Ступина, в одно и то же время ученик и советник его, был действительно таков, в этом может более всего убедить один ответ о нем, данный тем г. Геровым, болгаринном, который так долго был русским вице-консулом в соседнем Филиппополе и играл такую значительную роль в борьбе болгар противу греков.

Я спросил однажды у г. Герова: можно ли

доверять Манолаки? Я спросил это не потому, что я сам Манолаки не верил; мы все, *консулов пять подряд, лет двадцать ему верили*; но мне хотелось знать в силах ли самый умный болгарин отдать хоть в чем-нибудь справедливость греку, я хотел испытать самого Герова.

Он ответил очень остроумно:

– Наши простые болгаре, – сказал он, – убеждены, что у змеи есть под кожей ноги; но она выпустить их не может, потому что тотчас же издохнет. Вот Манолаки; у него под кожей есть *греческие ноги*, но он их выпустить никогда не может, так он сроднился с русским консульством.

Если уж болгарин Геров отдал хотя бы и такую язвительную справедливость греку Манолаки, то мы ведь не болгаре... И если купец и грек Манолаки, злясь, вероятно, так сильно на демердешских селян за долгий неплатеж, все-таки ног никаких змеиных не выпускал из уважения к *идее*, то это наглядно доказывает, какие психические чудеса могла бы творить на Востоке Россия, если бы она всегда стояла на правильной, на *Ступинской* почве

и реже бы сбивалась на общеевропейский, губительный для нас стиль!

VII

При Ступине было учреждено русское вице-консульство в Филиппополе. Политическое значение Филиппополя чрезвычайно важно. Ступин это сейчас же понял и нашел немедленно человека способного занимать с успехом этот пост. Человек этот был молодой болгарин, некто Найден Геров. Он обучался в России (кажется в Одесском лицее) и, возвратившись на родину с русским паспортом, занял место учителя в болгарской школе в Филиппополе. Турецкое правительство, естественно, не могло благоприятно смотреть на подобного рода людей; очень понятно, что оно подозрительно относилось и к тем грекам-учителям, которые долго жили в свободных Афинах и к тем югославянам, которые обучались в России. Следить внимательно как за духом преподавания христианских наставников, так и за действиями и политической пропагандой их вне школы, было туркам вообще очень трудно; но когда христианин-учитель был *райя*, то турецкое начальство могло все-таки рассчитывать на страх

его, на опасение какой-нибудь административной расправы. Выгнать из училища, сделать *сюрсун*, как говорится в Турции, то есть изгнать из страны, заморить даже в тюрьме – все это можно было сделать с учителем, своим подданным. Пришел бы к паше русский консул, пришел бы греческий, сделали бы они дружественное и конфиденциальное замечание, пришел бы, может быть, и английский и посоветовал бы быть «поосторожнее»... И только. Иногда русский консул, не находя удобным почему-нибудь входить в подобное дело сам, умел кстати «натравить» француза. Француз кричал, гремел против варварства не потому, чтоб он сострадал учителю или бы желал политического преуспения христианам; но потому, что Франция – «передовая нация, представительница великих принципов 89 года», и потому, что с другой стороны Турция необходима «против России», и турки не должны «скандализовать» общественное мнение... Вот и все.

Но с учителем, имеющим паспорт эллинский, а тем более русский – что делать? Он пользуется *официальной* защитой консула;

его можно только разве удалить из училища, но уже из города изгнать без согласия консула невозможно, *незаконно* по духу договоров. В случае резкого и неправильного обращения с иностранными подданными, нередко все консулы были заодно и находили, что паша этим подрывает вообще принцип консульского авторитета.

Таким образом, учителя из местных жителей, добывшие себе иноземные паспорта, особенно русские и греческие, были очень туркам неприятны.

Не надо было допускать их в школы... Разумеется, турки всячески и старались соблюсти это правило. Но что прочно в государстве расстроенном, где каждый губернатор окружен пятью-шестью иностранными привилегированными и влиятельными «соглядатаями-консулами»!

Какой-нибудь поворот в местной политике; какое-нибудь личное сильное впечатление... какая-нибудь дерзость француза и неловкое фанфаронство его, оскорбительное для паши; какая-нибудь тупая важность англичанина, наводящая на турка тоску... и вот

большею частью любезный, веселый, вежливый или добродушный лично, хотя и «злонамеренный Москве», выигрывал... Русского учителя допускали в школу; его оставляли в покое.

И Найден Геров был допущен в филиппопольскую школу. Но вдруг один паша взбеленился за что-то на него и не только захотел удалить его из школы, но даже *изгнал* его внезапно из города. Хотя многие меня считают *грекофилом*, но я готов предполагать, что тут была против Герова какая-нибудь греческая интрига. Филиппополь уже тогда становился мало-помалу тем, чем он стал позднее так резко, то есть главным очагом болгарского антигреческого движения, самым крупным из тех утесов, о которых суждено было разбиться воздушному кораблю эллино-византийских мечтаний.

Болгар в Филиппополе было много; они богатели, крепили с каждым годом, их община была там несравненно влиятельнее, чем в Адрианополе, городе более греческом, чем болгарском, если не по крови большинства, то по духу и преданиям влиятельных кружков.

И вот в этом городе, приобретающем со дня на день все больше и больше значения среди этой возрастающей болгарской общины, является молодой болгарин; умный, обученный в России, но выросший здесь, в Турции, знакомый с бытом, хитрый и деятельный, как десять греков (вообще болгары очень деятельны и очень хитры), друг и protege Ступина, всемогущего в главном городе Фракии! Изгнать его!

Изгнали. Но к чему же привела эта энергетическая выходка?

К тому, что в этом «опасном» Филиппополе, где до тех пор русского консульства не было, взвился русский флаг, и под этим флагом врос навсегда в землю этот самый скромный учитель болгарин, Найден Геров. Его сделали русским вице-консулом в этом турецком *Филибэ*, в этом греческом *Филиппополисе*... и он стал на своих донесениях и нотах надписывать: *Пловдив*, такого-то числа.

Хотя, отделяя строго эстетический мой вкус от политических дел, я и нахожу, что славянское это имя очень неблагозвучно и напоминает некстати что-то съестное, вроде

пилава (плов), тогда как греческое имя величаво, а турецкое *Филибэ* очень изящно и нежно, но политика идет, особенно в наше время, не справляясь с законами изящного – и в тот день, когда Ступин достиг удовлетворения и вознес в русские консулы оскорбленного пашой болгарского педагога, было уже решено в книге судеб, что *Филибэ* станет *Пловдивом*.

И это было дело Ступина.

Директором Азиатского Департамента был в то время Ковалевский, человек горячий, любивший поддерживать энергических консулов. Консулы, обыкновенно, посылали в Петербург копии со своих донесений посланнику и не лишены были, конечно, и права прямо писать директору Азиатского Департамента. Сверх того, я слышал от адрианопольских старшин, близких к Ступину, что он состоял в частной переписке с Ковалевским. Может быть этим объясняется то истинно блистательное удовлетворение (*satisfaction eclatante*), которое дала нам на этот раз, благодаря неискусной выходке филиппопольского паши, эта давно уже не блистательная Порта...

Надо заметить, так это постоянно случилось с турками. Большею частью они были до невероятия терпеливы с консулами и даже нередко с собственными подданными, которые тоже далеко не ангелы во плоти; тогда, выигрывая время, они поправляли немного свои дела; но каждый раз, как просыпалась в них гордость, быть может горькая память их прежней грозы и могущества, каждый раз, когда, увлекаясь гневом, они хотели обнаружить старую энергию свою, дело кончалось для них поражением.

Так было и в больших и малых делах. Не изгони во время Ступина турки с такою первобытною решимостью болгарского учителя из этого *Филибэ*, не сделался бы именно этот *болгарин* там консулом; болгарский церковный вопрос, при влиятельном русском человеке в *Филибэ*, без Герова пошел бы медленнее или иначе как-нибудь. Церковная распря с греками, которую так усердно и даже так искусно раздували турецкие министры, приучила дотоле неподвижный болгарский народ к движению и брожению; раскол, то есть неправильное *по форме* решение церковного

вопроса, которого так желали турки, объединил болгар, придал им незнакомую им дотоле самоуверенность и гордость... Эта небывалая смелость привела в ярость мусульман... Ярость эта перешла далеко за черту разумных и общепринятых мер усмирения... Болгарские села вокруг главного очага болгарского движения обогрились потоками крови, и русские войска перешли свой вековой Рубикон – не «синий», как сказал Хомяков, а напротив того – мутный и желтый, унылый Дунай...

У меня могут спросить, однако, какова же была собственно *политическая* идея Ступина? Какая идея руководила его энергической деятельностью во Фракии?

Мне могут язвительно заметить, что расправиться с мудиром, ходить по улицам в русской шапке с десятком вооруженных людей, сидеть патриархально у порога христианской хижины, строить в Демердеше болгарскую церковь и даже наказать дерзость филиппопольского паши внезапным превращением ничтожного болгарского учителя в русского консула, что все это не политика, а разве только *престиж* для поддержания и укреп-

ления в стране известной политической идеи.

На это я могу ответить вот что. Строго говоря, от консула и не требуется самостоятельных политических идей, слишком большая самостоятельность политического агента, второстепенного *по рангу*, но чрезвычайно важного по независимому и бесконтрольному *одиночеству* своему, в среде всегда напряженной и впечатлительной, могла бы быть иногда очень вредна. Везде очень мало найдется натур настолько смелых и глубоких, которые сумеют и в бесконтрольном положении уединенного поста строго проводить такие идеи начальства своего, против которых иногда протестуют личные убеждения. Для этого нужно, чтобы почти *мистическое* почтение к государственной иерархии брало в сердце постоянно верх над личным взглядом на внешнюю политику той державы, которой служит политический агент. Поэтому никто никогда и не требовал, чтобы консул был непременно какой-то публицист на практике. На практике, в деятельности своей местной, в образе влияния на власти, на жителей, в от-

ношениях своих к иностранным сослуживцам консул должен являться только смышленным исполнителем общих предначертаний своего министерства. Никто, разумеется, не запрещал ему рассуждать отчасти и о «высшей политике» в своих секретных отношениях к начальству; здесь он мог иногда давать волю даже политическим фантазиям своим. В то время, когда я служил и когда Ступин наполнял Фракию слухами о своей энергии, «идеи», изложенные на бумаге, ценились у нас; и раз оградив себя обычными фразами бюрократического смирения вроде «мое *по- сильное* мнение», «я осмелюсь почтительнейше заметить», или «если я не ошибаюсь», или, наконец, «почтительнейше прошу извинить смелость, с которою я позволяю себе», русский консул мог конечно предлагать все, что ему угодно. Он мог предложить и временный союз с турками, и восстание всех православных разом, если не прямо, то, по крайней мере, тонкими намеками; один консул мог возмущаться до глубины души «грязными интригами *фанариотов*», а другой восклицать с чувством: «вековая связь России с Констан-

тинопольским вселенским престолом, священным для нашего православного народа» (то есть с этими самыми *фанариотами*, которых интриги так ужасны). Все это допускалось и у нас и у консулов других, конечно, наций. Многие помнят, я думаю, одно донесение г. Лонгворта (генеральный английский консул в Сербии), обнародованное в *Синей книге*; в этом донесении Лонгворт советовал мусульманскому простонародью свершить именно *те избиения*, которые вызвали последнюю войну. Существовал, например, еще *проект восстания в Албании против султана*, проект, составленный, если я не ошибаюсь, уже умершим теперь, французским консулом Геккаром. (Эта записка, по случайности, попала в наши руки и еще раз доказала, до чего была всегда притворна, запутана и пуста французская политика на Востоке.)

Я говорю, что никакое правительство не воспрещало своим агентам в Турции иметь «идеи» и даже высказывать их от поры до времени; но ни одно, конечно, и не *требовало* этого. Наше начальство требовало от нас постоянно двух вещей: 1) *знать* хорошо, что

делается и даже думается в стране и вовремя доносить об этом и 2) держать себя в стране так, чтобы помнили, что *есть на свете Россия*, единовенная христианам. Общая же наша политика после Парижского мира была тако-ва: поддерживать и защищать гражданские права христиан и умерять, насколько воз-можно, естественный пыл их политических стремлений.

Надо согласиться, что правильнее и уме-реннее этого нельзя было ничего придумать. С этою прямою и ясною целью и было откры-то по всей Турции столько новых русских консульств после неудачной для нас Восточ-ной войны пятидесятых годов.

Итак, вопрос: соответствовал ли Ступин тому двойственному идеалу политического агента, о котором я сейчас говорил? Многого об этом сказать не могу. Во время моей служ-бы во Фракии я, изучая архив консульства, читал, между прочим, и его донесения, но по многим причинам вынужден был обращать на них гораздо меньше внимания, чем на де-ятельность, на воззрение и, так сказать, на «методу» моих ближайших предместников гг.

Шишкина и Золотарева. Времени было мало: нужно было в одно и то же время и самому действовать, и учиться; нужно было судить, рядить, *влиять*, не ошибаться по возможности, нужно было скорее понять и страну вовсе незнакомую, и людей непривычного нам русским духа. Многие дела, начатые Золотаревым (который вдруг уехал в отпуск, пробыв со мной в Адрианополе не более четырех дней), надо было продолжать, надо было поддерживать некоторые предприятия его, чтобы не уронить ни консульства в глазах населения, ни себя в глазах начальства; надо было знать, что такое тут случилось *недавно*, за год, за два, много за три до моего приезда. Мне говорил, например, какой-нибудь местный политик с таинственным видом:

– Я вчера видел диакона *такого-то*, он ученик *Пантелеймона*. У них теперь в *таком-то* предместьи – вроде маленького монастыря... Что вы об этом думаете?

«Что я думаю? Я об этом еще ничего не думал! Я думал со страхом: Кто это такой *Пантелеймон*! Кто это? Боже мой! Я ничего не знаю... Какое предместье?... что за дьякон?»

Или мне докладывали: – Дядя этой *Фатьме* опять пришел за деньгами. Он грубит, подозревает, что эти деньги задерживаются в консульстве.

– Как он смеет грубить? Позвать его.

«Но, однако, что я ему, этому дяде, скажу? Кто такое эта *Фатьме*! Зачем эта мусульманка требует денег. Какие деньги?.. Что ей до нас! Что нам до нее?»

Или еще мне рассказывают:

– Вообразите, этот негодный *архимандрит Пахомий* не удовольствовался тем, что стал униатом, он теперь *потурчился*. Как мы с Золотаревым старались уговорить, удержать его!.. Имели даже с ним тайное свидание. И он нас обманул! Что за ужасный человек и что за лицо у него, какие разбойничьи глаза!..

Кто этот ужасный архимандрит? И зачем Золотарев так занимался им?.. Для чего? Когда это было? Это может быть очень важно-Нужно было мне знать скорее, что *Пантелеймон*, *ересиарх*, простой болгарский священник, который хотел как-то по-своему очистить православие и возвратиться к первым векам христианства; надо было понять, что

его раскольничье учение не имело никакой связи с общеболгарским церковным движением. Нужно было знать, что эта *Фатьме* – маленькая девочка, крымская татарка, очень миленькое дитя, в желтых с узорами шароварах, сирота, которая должна получить из Крыма 800 р. наследства; надо было, с одной стороны, обуздать дядю ее, чтобы не смел дурно думать о консульстве, а с другой, требовать настойчиво от таврического губернатора эти 800 р. Оказалось, что эти деньги давно лежали в целости в шкафах посольства, забытые секретарями.

Надо было ознакомиться покороче с приключениями архимандрита Пахомия (положим, я имя забыл), перешедшего сперва в униатство, а потом надевшего чалму турецкого улема; узнать, как действовал Золотарев в подобных неприятных случаях, и почему он сам столь искусный и счастливый в делах на этот раз потерпел неудачу.

Мсьё Ишуа прибил хлыстом Вольницера! Ишуа и Вольницер оба евреи, но Ишуа драгоман Камерлохера, австрийского вице-консула: еврей усатый, рослый, с кривою кавале-

рийскою саблей, которою он в большие праздники гремит по полу и по лестницам, делая паше и консулам визиты. А бедный Вольницер не мсьё, он просто портной, наш подданный из Варшавы – добрый, честный, прекрасный еврей. Австрийский мсьё и наш простой еврей заспорили о чем-то в чьей-то лавке. Ишуа воскликнул: «Русские все сволочи!» (что-то в этом роде). Добрый Вольницер считает себя русским, отвечает: «Австрийцы все подлецы!» Удар хлыстом. (Это было еще до отъезда Золотарева.) Международная полемика между Золотаревым и Камерлохером. Обмен горячих нот. Но оба консула – и наш, и австриец – уехали в отпуск; и теперь при мне обвиняемый драгоман сам себе судья; он управляет Австрийским консульством; он мне товарищ. Я негодую в душе, что мне, калужскому дворянину и т. д., приходится делать визиты этому Ишуа с саблей; но что делать!..

Сам всемогучий Золотарев, которого западные консулы очень уважали, не мог добиться никакого удовлетворения по этому делу! а я только «управляющий», векиль, халиф на

час.

Утешаюсь философией. Правды на земле не было, нет, не будет и не должно быть; при человеческой правде люди забудут божественную истину! Да... Бедный Вольницер! Я не заступлюсь за тебя, несмотря на твои большие, добрые и черные глаза, несмотря на честность твою и даже на то, что ты недавно пожертвовал четыре золотые лиры на пострадавших от наводнения... Гораздо более меня, потому что я свою лепту вывел в счет чрезвычайных по консульству издержек...

Боже мой! как это все сложно! когда же мне изучать ступинские архивы?.. Старые дела не кончены; а новые дела, тяжбы и события вырастают и рождаются со всех сторон. Жизнь не хочет знать, что я еще не успел изучить страну, людей, обычаи, законы...

Подданных русских здесь не мало; все они торгуют, продают, покупают, дают займы и занимают... Манолаки живмя живет в тиджарете!.. Полимен, Кеворк, Киркор, Новаков, Боеджиа, Москбв-Саломон... Этот благородный Вольницер... Их много! у Полимена пропал буйвол; Новаков ссорится с тещей; рубит ка-

кую-то дверь топором, а сам жалуется на «иго фанариотов».

Всех их надо удовлетворить, урезонить, рассудить, утешить, наказать...

А между тем жалобы на турок слышатся по обыкновению со всех сторон: болгарские крестьяне должны много денег русским подданным; все эти горожане Кеворки и Бояджи. Ампарцумы и Новаковы дают займы селянам деньги на уплату податей с ужасными процентами... Приходит срок; у болгар может быть деньги есть *зарытые в земле*, а может быть и нет... Они не платят, просят, плачут... Наши подданные предъявляют правильные расписки... Что делать? Кому верить?.. Кого щадить?.. Кого карать?.. У всех здешних жителей такие хитрые лица; они так значительно молчат, так подозрительно подмигивают на кого-то и на что-то, так зло улыбаются, что становится страшно и за себя, и за Россию!..

Пропаганда католическая не дремлет; она кипит в селах около Малко-Тырнова. В городе польские священники, выписанные нарочно по совету француза-консула, отпустили себе бороды, надели черные рясы и прямые клобу-

ки русских монахов и служат, как слышно, очень правильно православную литургию в болгарском предместье Киречь-Ханё... Известий скорых нет из деревень; дожди проливные, ужасные, нет сообщений. Франция, австрийцы... Я один на всю Фракию!..

Сама природа вызывает меня на борьбу! Река Марица выступает из берегов. Все низменные кварталы Адрианополя затоплены. Греческий *Ильдъгрим*, болгарский *Киречь-Хане*... Вода все растет и растет... Со всех сторон слышны ружейные и пистолетные выстрелы, извещающие население об опасности-Бедные жители предместий спасаются в верхние этажи, на чердаки своих жилищ. Вода обступает их. Мороз. Люди остаются без хлеба, без свеч, без угля для мангалов. Богатые христиане кое-что послали; но паша, митрополит, французский консул Гиз, греческий Менардо, австрийский жид с саблей – все бездействуют... Блонта нет; брат его Джорджаки, за него управляющий делами Британии, дитя; он служит у меня же по распоряжению Золотарева номинальным писцом за четыре лиры и только скачет очень красиво верхом...

Распорядиться... Беру расходы на свой страх!..

Едут лодки; едут и другие с другой стороны. С одной стороны распоряжаются какие-то черные монахи; с другой начальствует высокий турок в пунцовой одежде.

В лодках везут хлеб, везут и уголь, и сальные свечи.

Не велено делать различия племени и веры, а велено смотреть на нужду...

– Кто же послал лодки? Кто это помогает нам в несчастьи? – говорит народ.

– *Польские иезуиты и русское консульство!* Католическая проповедь и православный отпор!

Всё остальное самое влиятельное в городе опомнилось поздно.

Все это, положим, очень трудно и приятно; мучительно и весело... Это не просто служба, это какой-то восхитительный водоворот добра и лжи, поэзии и сухости, строгого формализма и свободной находчивости, тончайшей интриги и офицерской лихости, европейской вежливости и татарского размаха, водоворот, за ловкое вращение в котором, дают

кресты и шлют благодарности...

Все на этой службе мне ужасно нравится...

Еще раз спрашиваю, когда же мне было по источникам изучать состояние страны при Ступине и вникать в его донесения?

Однако помню я что-то читал и из ступинских архивов; но что именно, теперь не могу сказать...

Общее же впечатление у меня осталось такого рода, что в стране и при нем были те же политические элементы, какие были и при мне; все та же «почва», те же турки и христиане, те же злоупотребления и жалобы, те же греки и болгары, те же православные и католики... Все это точно так же перекрещивалось и путалось одно с другим; так же взаимно парализовалось одно другим... такая же сложная и вместе с тем какая-то нерешительная почва; ни чисто болгарская, как в Рущуке или Тырнове; ни чисто греческая, как в Крите или Янине, где наши русские задачи были так ясны и просты. Многое при Ступине (тотчас после Крымской войны и до 60–61 года) не выяснилось, не разрослось; болгарское движение против патриархии было еще слабо; многие

болгары сами еще не знали, чего им ждать, чего желать.

Желания их были или очень скромны, или, напротив того, слишком грандиозны и мечтательны. Большинство греков в Адрианополе было тогда русской партии, как я уже сказал. С французами было у нас именно во времена Ступина дружеское соглашение, расстроившееся во время польского мятежа. Но настоящего французского консула не было в его время, был, вероятно, какой-нибудь «consul honoraire»[8] из местных католиков.

Пропаганда была во времена Ступина несравненно слабее, чем стала позднее при нас с Золотаревым. Турки были все те же турки: только они были попроще во времена Ступина; в 1866 и 1867 годах начали в Турции учреждать вилаеты, учреждения стали поопределеннее и посложнее; с каждым годом прибывало то там, то сям по несколько более прежнего образованных пашей... Именно при Ступине, под самый конец его службы во Фракии, один за другим были назначены в Адрианополь действительные консулы: эллинский (г. Доско), французский (г. Тиссо); позд-

нее английский вице-консул, знаменитый теперь своею враждой к России и славянам Блонт, и австрийский вице-консул, энергичский оригинал Камерлохер. Справиться мне теперь из глубины Калужской губернии невозможно, но мне кажется, однако, что Блонт и Камерлохер самого

Ступина уже не застали; изо всех ступинских донесений я помню только одно его замечание. Оно осталось у меня в памяти именно потому, что было неверно.

Дело шло об иноверных западных пропагандах во Фракии. Рассказав обо всех возможных не духовных средствах, к которым прибегала уже и в то время католическая пропаганда в среде болгар, недовольных греческим церковным начальством своим, Ступин переходит к характеристике миссионеров протестантских, хвалит их добросовестность, их хорошие нравственные качества и сравнительную прямоту их приемов, и в заключение прибавляет нечто в этом роде: «но отсутствие пышности и благолепия в протестантском богослужении всегда будет не привлекательно для пылкого воображения южного челове-

ка»...

Это неверно. Пылкого воображения ни у болгар, ни у сербов нынешних, ни даже у новогреков вовсе незаметно. Напротив того, наблюдательного русского прежде всего поражает на христианском Востоке слабость фантазии и замечательная трезвость ума, до сухости доведенная. На это есть исторические причины; главное занятие христиан под властью турок целые века была торговля и торговля. Понятно, что это для развития фантазии не особенно благоприятно. И если болгары не поддавались на проповедь протестантских миссионеров, то это потому именно, что на всем христианском Востоке вовсе нет того искреннего религиозного брожения умов, того искания, той боли сердца по Богу, которое всегда было и есть у нас в России... Там все, или почти все, или неподвижные консерваторы, или скептики по европейским образцам, посещающие храм православный по национальному чувству или из политических целей. Этого рода сухая трезвость умов имеет, конечно, и хорошие и худые стороны, но об этом нельзя говорить слегка... И потому я это

здесь оставлю и вернусь к этому вопросу позднее.

Я хотел только сказать, между прочим, что донесения Ступина особенно поучительны быть для меня не могли и в памяти не остались. Он писал не очень хорошо, невыразительно; и учиться этому надо было не у него, а у г. Шишкина. Г. Шишкин, его преемник, писал превосходно и по-русски, и по-французски. Это был истинно образованный политический редактор. Он этим справедливо славился. Ясно, кратко, верно, дельно и изящно.

Что касается фактов собственно, то разумеется факты в донесении Ступина были. К несчастью, чего не помню, того не помню.

Что касается идей, то были у него кажется две идеи; но я думаю, что обе эти идеи были внушены ему так называемую средой. Лучшие люди из городских греков и болгар, постоянно и мне твердили об этих двух политических мыслях.

Одна мысль этих людей была следующая:

«Фракия в случае распада Турции должна стать особым княжеством с русским (неприменно с русским) князем на троне. Не

надо ее давать ни болгарам, ни грекам... Эта Фракия должна войти в большой союз мелких государств с Россией во главе: Фракия должна быть под прямым русским начальством как преддверие Константинополя. Константинополь присоединить к России необходимо; иначе тут станет гораздо хуже, чем теперь, при турках. При турках есть надежды, без турок и без русских не будет и надежд, все расстроится и все делается добычей Запада».

Так говорили и мне лучшие люди Адрианополя. Они же говорили мне, что Ступину нравилась эта мысль примирения греков с болгарами во Фракии без затей, посредством почти прямого подчинения России. Под Фракией в этом случае разумелась вся южная Забалканская область от Черного моря до Македонии на западе и до Эгейского и Мраморного моря на юге. Босфор и ближайшие окрестности его исключались из этого княжества, греко-болгарского по населению, полурусскому по главному управлению.

Северная Болгария должна была стать почти тем же, чем теперь. Забалканская часть (Фракия), где по селам и на севере живут ис-

ключительно болгары, а в городах, особенно приморских и вообще на юге, преобладают греки, должна более подчиниться полурусскому правлению с русским князем на престоле, а Босфор и ближайшие его окрестности должны были быть захвачены Россией во что бы то ни стало, хотя бы ценою самых страшных жертв. Филиппополь от Андрианополя не отделялся; он был ему подчинен. Так думали в шестидесятых годах умные и влиятельные старшины Адрианополя. Из них большинство были греки, но были и болгары (например, умерший ныне, весьма влиятельный и богатый доктор Найденович, России до фанатизма преданный).

Этим людям – и грекам, и болгарам – одинаково не нравилась и заявившая уже свою пустоту афинская демагогия, и загадочное еще в то время освобожденное болгарство. Свободную Элладу они не уважали, будущую вполне свободную Болгарию не могли ясно себе представить. Им нравился русский монархизм, их восхищала русская дисциплина, русское братство, с одной стороны, и русское покровительство и простота, с другой. Они ду-

мали даже, что и местным туркам несравненно будет приятнее и выгоднее зависеть от России, чем от них, от вчерашних рабов своих; они находили даже, что Россия в случае удачного разрешения Восточного вопроса найдет себе сильнейшую опору в местном мусульманстве, что эти осиротелые без султана турки всегда лучше поймут Белого царя и его генералов, чем палату каких-то фрачикиков, смелых только на словах и ничем иным не внушительных.

Эти люди представляли себе Россию, изболтавшуюся ныне Россию, Россией серьезною и консервативною, не совсем благоприятно смотрели даже на большую часть наших реформ и были в политике более русскими, чем мы сами... И нам приходилось иногда у них учиться русскому охранению, русскому политическому эгоизму, так сказать, который они считали для будущности Востока более спасительным, чем бескорыстие или излишнее доверие даже и к самим христианам. «Не надо рассчитывать на одну популярность или на благодарность в будущем. Прежде всего нужны страх и сила», – говорили эти люди.

В каком смысле надо понимать возможность сближения русского консула с местными фракийскими мусульманами?

Мне это объяснили преданные России адрианопольские *архонты*. Вот в каком:

Христианское население Фракии, за немногими исключениями, неспособно само отстаивать свою независимость оружием. Оно робко. Завоевание здесь давнее, подчинение глубокое, даже привычка к зависимости от турок велика. Страна открытая, не гористая, большею частью безлесная, неудобная для партизанской войны. Положим, русское правительство искренно не хочет ускорять разрушение Турции, и оно право в этом, ибо лучше оставлять все, как есть, чем допускать дальше известной меры вмешательство Запада. Все это так; но как сберечь государство, которое само разрушается? Христиане (вообще не в одной Фракии) умножаются, богатеют, учатся все более и более европейскому свободолюбию и гордости: стыдятся зависимости от турок даже и тогда, когда турки сносны и снисходительны. Постепенно от большого знакомства с Европой возрастает презрение

ко всему турецкому и не только к турецкому, но к своему дедовскому, старинному, похожему на турецкое. Чувство это не во всех областях распространено равномерно, не у всех христиан равносильно, но оно растет, а мусульманство слабеет. В высших слоях мусульманского общества слабеет религиозное чувство, не исполняются обряды и уставы Пророка с прежнею строгостью; в турецкой семье распадение и разврат; население турецкое в Европе вымирает. В Адрианополе и других городах закрываются мечети – некому в них молиться; пустеют кварталы – некому жить в них. Военская повинность падает всею тяжестью на одних мусульман; христиан в войско по недоверию к ним не берут: боятся приучать их к оружию. Старые матери остаются без поддержки; молодые жены, которых мужья идут в солдаты, вытравливают себе детей, чтобы сохранить дольше красоту для вторичного брака или для проституции. Правительство слабо, непопулярно, денег нет... Державы гнетут его со всех сторон. Их антагонизм не спасает Турцию от медленного изнеможения. При таких условиях, как же может

Россия предохранить Турцию от распада, если б и желала того? Хотя бы турки были ангелы во плоти, и тогда бы христиане жаловались на них из принципа. Простой народ почти не замечает разницы между управлением паши даровитого и управлением паши неспособного; плохой, нерадивый паша часто считается у христиан наилучшим. Образованные православные положительно опасаются умных пашей и хороших беев. «Не дай Бог нам хороших беев!.. С ними Турция простоит дольше, потому что они меньше будут раздражать народ...» Турция должна пасть и пасть скоро. Надлежит это помнить.

Нельзя ли переманить на сторону христиан (или России, что все равно в подобном случае) мусульманское население Фракии? Духовенство, беев и рабочий класс? Можно попробовать. Надо привлечь их долгими усилиями хоть настолько, чтоб они не оказывали сопротивления христианам, когда Россия силой самих обстоятельств будет вынуждена обнажить меч на защиту своих единоверцев.

Так думали те христианские политики, которых *русизм* был в некоторых отношениях

сильнее нашего. Мы были почти все осторожнее, умереннее их; мы меньше как-то верили в силу нашу, чем они. Эти ли люди внушали Ступину мысль о сближении с мусульманами, или, напротив того, он сам дошел до нее и проповедовал эту идею влиятельным христианам, не могу сказать. Знаю только, что попытки были и что Ступин местным туркам нравился. Чем? Многим. Храбростью, видом суровым, гостеприимством, душевною простотой, азиатскими привычками внешнего эффекта, многолюдною стражей, меховым колпаком, умною беседой в их духе и т. д.

Разговаривая об этом с незабвенным *Меттернихом* нашим, Манолаки Сакелларио, я удивлялся смелости этой мысли и полагал, что для подобного сближения нет элементов. Но Манолаки был политик даже до поэзии, и ему хотелось верить в возможность чего-то подобного. В быту турецком ему многое было привычно и по сердцу; европейской цивилизации он не любил; Россию считал лучшею, чем она есть, предполагал ее более самобытною, более своеобразною, чем она на самом деле; мне кажется, что наш европеизм (столь

искренний, столь младенчески-глупый иногда и столь гибельный) он считал лишь маской искусно расписанною и ловко надетою до поры до времени. Он не знал России либеральной и прогрессивной и выдумал свою Россию по преданию и разным отрывкам... Искренний в общей идее своей, он при виде простодушия в политике пожимал плечами. Он желал, чтобы мы больше интриговали, и меньше уважал нас, когда мы ему казались равнодушными или робкими. Он хотел везде и во всем найти пищу русскому честолюбию, считая его вполне законным и уместным в этих странах.

Относительно местных мусульман он говорил мне следующее:

– Они недовольны своим правительством, недовольны реформами, помнят янычарские времена, ненавидят французов и англичан, считают их более вредными для мусульманства, чем русских. Россию как государство они уважают. В их древних преданиях Россия смешивается иногда с Византией. Простые старики и даже хаджи (священники) рассказывают охотно следующий анахронизм из

первых времен мусульманства. Магомет (Пророк) разослал всем иноверным царям письма, приглашая их принять мусульманство. Все западные цари отнеслись грубо к этому званию; только один русский царь поступил почтительно. Он принял посла хорошо, читал письмо Пророка, стоя на ногах у трона своего, прочтя письмо, поцеловал его, приложил ко лбу и сказал: «Если бы мы прежде не приняли православия, то сочли бы за счастье стать мусульманами; но теперь это невозможно!» Мусульмане опасаются России, но они ее уважают как государство. Царь для них понятнее и уважительнее всяких парламентов. Они слышали также и от пленников прежних войн и от переселяющихся из Крыма в Турцию татар, что религия их пользуется покровительством в России, знают, что татарские муллы награждаются и поддерживаются русским правительством, что хаджи кричат на высоких минаретах точно так же, как в Турции. Они слышат, что и народ в России к мусульманам не питает того презрения, которое заметно в обращении европейцев. Есть и свежие, почти вчерашние предания. Русские в 1829 году

вступили в Адрианополь врагами и победителями; французы в 1854-м вошли в него союзниками и, несмотря на всю эту разницу, русские вели себя в городе лучше союзников. Распоряжения Дибича[9] оставили здесь глубокое впечатление, он требовал от солдат своих уважения к мусульманской святыне. Напротив того, французские начальники (кажется Боске) позволяли подчиненным своим делать всякие бесчинства. Зуавы приходили в мечети во время молитв; турки, судя по восточной одежде их, принимали их за алжирских магометан и продолжали спокойно молиться. Зуавы сначала стояли чинно, но потом, выждав время, когда коленапреклоненные турки падали ниц, они сзади хватали их за ноги и роняли на пол. Французские солдаты взбирались на минареты, кричали оттуда, делали на этих минаретах и еще худшие дела... они стучались в гаремы, оскорбляли мужчин, смеялись всячески над турками, презирая их. И когда турки приходили жаловаться, то генералы французские говорили: «Большая важность, что солдат позабавился! Мы за вас идем под русские пули».

Ни генералы русские, ни консулы, ни даже русские простолюдины этого презрения к мусульманам никогда не выказывают. Сверх всего этого, надо заметить, что турки старого духа (а их еще много) считают западных христиан народами бескнижными, *китабсиз*, то есть не имеющими настоящих священных книг. Бог людям дал только три священные книги: Ветхий Завет Муссе (Моисею), Коран Магомету и Евангелие Пророку Иссе (Иисусу). Коран новее и выше всех, но и те от Бога; поэтому книжных народов только три: мусульмане, евреи и *ромеи* (православные), франки (западные христиане) исказили Евангелие; у них нет книги.

Так толковал мне Манолаки Сакелларио.

Этот невзрачный, серолицый, сероглазый, приземистый фракиец Манолаки Сакелларио, всегда так скверно одетый, в домашнем быту своем, по правде сказать, злой и лукавый, был чрезвычайно даровит, верен и тверд в делах и политике. Положение его было скромное; поприще узкое; но способности его были удивительные...

Я расположен думать, что мысль о сближе-

нии с мусульманами принадлежала более ему, чем самому Ступину.

Мы прежде всего и, может быть, уже слишком часто и слишком доверчиво заботились о том, чтобы угодить славянам, и где возможно, то и другим христианам. Они, эти местные люди, мечтали прежде всего об укреплении русской власти на Босфоре и в его окрестностях. Мы больше их верили в силу популярности, в силу благодарности народов, мы верили больше их в ту любовь, которую воспевал так изящно Тютчев; и они были не прочь от этой любви, от популярности, но подобно Бисмарку тверже верили в право и пользу силы.

Мне очень жаль, что я не успел узнать и запомнить побольше подробностей о тех приемах, которые Ступин употреблял для привлечения к себе мусульман. О некоторых, известных мне, я упоминал.

Надо, впрочем, заметить, что в его время все это было легче, чем стало несколько лет позднее. И местные турки изменились очень скоро. Они стали осторожнее с иностранцами; редкие шли даже на простое знакомство с

консулами. Они стали бояться своего начальства, которое, вероятно, не скупилось на подобающие внушения.

Новые паши становились все ловчее и ловчее, соединяя очень умно в действиях своих европеизм с азиатством...

К тому же во времена Ступина не было в Адрианополе ни английского, ни французского настоящих консулов. Был, кажется, только австриец.

Не могу сказать в точности, до какой меры популярности достиг Ступин в среде адрианопольских турок; знаю только, что именно эта популярность и особенно один случай, в котором она резко выразилась, возбудила против него, наконец, в высшей степени и оттоманские власти, и всемогущую тогда французскую дипломатию.

Жил в то время в Адрианополе один молодой турок. Звали его, если я не ошибаюсь, Али. Он был сын паши. Паша умер, а сын скитался без должности и пропитания. Он просился на службу; его не принимали; никто не хотел ему помочь. Назло турецкой бюрократии он пошел к Ступину и нанялся у него в

простые кавасы.

Эта горькая капля, рассказывали мне, переполнила чашу зависти и досады.

Против Ступина составила коалиция.

VIII

Я сказал уже прежде, при начале деятельности Ступина в Адрианополе консулы других держав в этом городе были только по имени, не имевшие надлежащего веса и значения.

Позднее стали один за другим назначаться настоящие консулы, консулы «присланные», а не местные.

Видная ли роль русского деятеля встревожила державы, или вернее все другие правительства просто пожелали, подобно русскому, иметь влиятельных политических агентов в стране столь важной, как Фракия, не знаю. Только консулов присылали в Адрианополь одного за другим.

Первый, если не ошибаюсь, прибыл г. Доско, эллинский консул, родом болгарин, чрезвычайно хитрый человек, про которого его же эллинские сослуживцы говорили:

– Он совершенно неправильно и путями исключительными втерся на коренную службу греческого королевства... Он был не автохтон (не местный уроженец) Эллады, а при-

шлец славянской крови... Он вошел не в дверь и даже не в окно, а разобрав крышу и потолок, спустился, куда ему желалось...

Не помню также, когда приехал г. Доско: раньше поступления турецкого бея, генеральского сына Али, в кавасы к Ступину или позднее... Кажется раньше, но это и не важно.

Важно было то, что единоверный Ступину и всем нам, политический деятель ехал во Фракию с явной целью бороться в этой стране против панславизма.

Ступин, желая вероятно показать, что он принимает г. Доско за союзника, а не за врага, сам с помощью некоторых греческих старшин приготовил для православного товарища хорошее помещение и выехал встречать его почетно за город, по восточному обычаю, для выражения своего уважения и радости.

Низенький, смуглый, курчавый, сладкоречивый и чрезвычайно лукавый г. Доско отвечал любезностями на любезности, но тотчас же по приезде своем в город объявил грекам, что влияние русского консула опасно для «великой эллинской идеи» и что он, Доско, намерен противостоять ему.

Борьбу свою против России, олицетворяемой Ступиным, г. Доско начал довольно оригинально.

В адрианопольской митрополичьей церкви (по нашему говоря в соборе), кроме архипастырского трона с навесом, есть еще три почетные седалища. Одно из них находится по правую руку от митрополита, поближе к иконостасу: оно обито красным сукном с небольшим золоченым двуглавым орлом на спинке; два другие попроще напротив. На этих двух последних изображены гербы Молдавии и Валахии, одноглавый орел и рогатая волосья или бычачья голова. Каждый герб на особом седалище. На местах этих становились и садились когда-то молдовалашские господари-фанариоты. Назначаемые в княжество Портой, они сухим путем с большою пышностью проезжали через Адрианополь и, отдыхая в городе, конечно, успевали посетить митрополию и присутствовать при литургии.

Что касается большого седалища, обитого красным сукном, по правую руку епископского трона, то подобные ему встречаются во

многих больших церквах Европейской Турции. Не могу сказать утвердительно для кого собственно они сделаны, какое именно важное лицо имели в виду христиане, когда устраивали это почетное место в своих соборах. Двуглавый небольшой орлик, робко притаившийся в тени на спинке кресла, заставляет думать, что имелся в виду византийский или иной православный император.

Но, обыкновенно, за отсутствием царственной особы православного исповедания, на это место становились русские консулы или греческие. Однажды даже (в Янине) я видел на этой пурпуровой стасидии рядом с митрополитом черное и неприятное лицо армянина Костана-эфенди; он был тогда дипломатическим чиновником при янинском генерал-губернаторе Ахмеде-Рассиме, а потом сам стал пашой; его имя часто встречалось в газетах за последнее время; он исполнял многие важные поручения турецкого правительства в Герцеговине, Албании и других частях, кажется, Западной Турции.

Русские консулы не всегда и не везде становились на это место. Из преднамеренной

скромности они часто становились в менее важные стасидии, напротив митрополита, у левого ряда тех колонн, без которых нельзя вообразить себе ни греческой, ни болгарской церкви. Так большею частью делал и Ступин в Адрианополе, желая, вероятно, придать как можно больше значения в глазах народа красной стасидии с двуглавым орлом: он становился напротив, уже не могу сказать на которое, на молдавское или на валашское место; положим хоть на молдавское... Малорослый Доско, как только узнал по приезде своем в город об этом обстоятельстве, тотчас же расчел, что Ступин гораздо выше его, и что он, Доско, будет много терять в глазах народа, если, став рядом с ним в церкви на одной высоте, будет казаться гораздо ниже его. Сообразив это, Доско послал в митрополию плотников и приказал им возвысить подножие валашского седалища как раз настолько, чтобы голова его в уровень с головою Ступина возвышалась над толпой молящихся единоверцев.

Такою оригинальною и даже, если угодно, наивною выходкой ознаменовал г. Доско на-

чало борьбы «великой эллинской идеи» против «ступинского панславизма».

Боже! как этот ужасный Доско, о котором мистер Блонт не мог говорить иначе, как о какой-то гремучей змее, – как этот Доско смирился потом перед нами! Как он был мил и обязателен!.. Как он с панславизмом мирился во время нашего с Золотаревым управления!..

Я его жалел и любил даже, и теперь вспоминаю о нем, право, с большим удовольствием.

С такими-то людьми, лично любезными и вежливыми, но по службе деятельными и на все готовыми, на все способными, даже на политическую свирепость, подобными Доско и Блонту, было чрезвычайно приятно служить!..

Знаешь, что этот человек, который с тобой так мил и прост, свое политическое и национальное дело делает неустанно... Делай и ты; он бодрствует, бодрствуй и ты! Вот в чем задача! И право мы, русские, решали ее, эту задачу, недурно... по крайней мере, тогда. Кстати, я помню в одной петербургской газете была в шестидесятых годах статья, в которой жало-

вались, что английские консулы имеют гораздо больше влияния, чем наши. Это неправда, мы всегда были влиятельнее их. В статье этой было сказано, что наши консулы, может быть, очень честные люди и исполнительные чиновники, но будто они не имеют на Востоке ни малейшего веса!.. «Вот англичане – это другое дело»...

Может быть мне изменяет память (но кажется, что нет), в этой статье было еще сказано, что великобританские консулы все люди коммерческие, а на Востоке все покупается за деньги и т. п. Все это не так. Во-первых, нигде нельзя всего купить за деньги... Это фраза. А во-вторых, русские консулы того времени вообще не были похожи на то, что обыкновенно называется исполнительными чиновниками; большинство их в то время были люди смелые, предприимчивые, изобретательные, полные огня... Может быть иногда, подобно Ступину, уж слишком пылкие и слишком предприимчивые. Английские же консулы, с другой стороны, вовсе не были коммерсантами; они были такие же чиновники, как и мы, и вовсе не деньгами приобретали влияние, а

точно так же, как и мы, то давлением на мусульманские власти и соглашением с ними по тому или другому делу, то уменьем приобрести расположение христианской интеллигенции; расположение же это, обыкновенно, было лишь временное и притворное; оно основывалось на сознании общегосударственной силы Англии, которая «нам, православным грекам или болгарам, нужна теперь временно, для достижения какой-нибудь определенной местной или национальной цели», а никак не той стихийной, органической связи, в которой состоит Россия со всеми христианами Востока, связи живой и реальной... Силу этой связи нередко со скрежетом зубов вынуждены признавать даже те из греков, сербов, болгар и румын, которые считались и считаются самыми лютыми врагами России. Эта органическая связь с Россией парализует все мечты наших недругов в среде восточных христиан и делает их бессильными всякий раз, как — только события начинают принимать грозный и решительный характер. Все эти греческие Трикупи, болгарские Чомаковы (известный туркофил и вождь болгарский во

все время долгой борьбы их против патриарха царьградского, кончившейся расколом), все эти офранцузенные румыны на тонких ножках и цивилизованные сербы на ногах толстых, все они принуждены волей-неволей считаться в трагические минуты народной жизни с этою досадною и неотвратимою силой всевосточного единоверчества...

Около того же времени, как г. Доско велел плотникам подвысить себе стасидию в соборе, приехал и г. Тиссо, французский консул. Я его видел мельком в Константинополе и говорил с ним; он показался мне человеком благовоспитанным и очень тонким.

Его хвалили многие; даже друзья Ступина отдавали справедливость его личной порядочности. Он явился, говорят, к Ступину с визитом щеголем, в свежих перчатках. «А бедный мсьё Ступин (рассказывали мне с каким-то радостным смехом единоверцы) принял его в своем военном ямурлыке»... Вероятно, это было серое, обыкновенного военного покроя пальто или шинель вроде солдатской. Ямур – значит дождь по-турецки, ямурлык – одежда от дождя. О чем говорили Тиссо и Сту-

пин, я не знаю; но это и не важно. Дело в том, что в городе составилаь против Ступина коалиция; союзниками были: местная турецкая власть, французский консул, все местные почетные консулы, из католических купцов Бадетти и Вернацца, о которых я уже не раз упоминал, и греческий консул Доско. Блонта, кажется, тогда еще не было.

Должно быть в это самое время французский посол получил от г. Тиссо донесение, в котором Ступин был изображен в самом глупом виде и вместе с тем человеком вредным (конечно для Франции, для Европы). Он будто бы, говорилось в донесении, после завтрака всегда уже пьян и в странной одежде ходит или ездит по городу и воюет... «Русское консульство больше похоже на казарму, чем на консульство»... В этом роде.

В одежде Ступина ничего не было особенно странного: в холодное время, зимой, он носил верно одну из тех боярок, которые носят у нас в России давно уже; может быть запросто, не с официальным визитом, ходил иногда в поддевке или в том полувоенном ямурлыке, в котором он принял г. Тиссо. Почему же мы по

зимним дням, когда и в Турции бывает холодно, должны носить непременно этот цилиндр, который верно был на Тиссо; почему не ходить запросто в русской поддевке?

В посольстве нашли, что это все не по-европейски, *que se n'est pas il comme il faut*: «Вообразите, – говорили, – Ступин дерется там». Кроме того, взведены были на Ступина обвинения в злоупотреблениях, какие он будто бы допускал.

Как бы то ни было, вскоре после всего этого прислан был в Адрианополь секретарь посольства, чтобы отстранить Ступина от должности.

Униженный так всенародно, Ступин собрал кое-какие деньги и уехал в Петербург.

Все друзья России, самые умеренные христианские старшины, множество православных людей простого звания, даже иные турки с глубоким сожалением провожали его... Многие давали ему денег займы на эту поездку в Петербург.

Враги, особенно местные католические буржуа, ликовали, кричали по всему городу, будто посланник велел заковать Ступина и

верного драгомана его Манолаки Сакелларио в цепи и в этом виде отправить в Петербург на суд и расправу.

В Петербурге, впрочем, Ступин был оправдан и награжден.

Ему очень хотелось вернуться с торжеством в Адрианополь; но этого утешения он не дождался и был назначен генеральным консулом в Персию. Там он умер в 1866 году внезапно от холеры.

Кто-то из семейных его поспешил сообщить эту печальную весть его верным адрианопольским друзьям и почитателям, которые тотчас же пришли ко мне с просьбой сказать, если можно, в память его какую-нибудь речь на греческом языке во время заупокойной обедни, которую они закажут за городом, в построенной им Демердешской сельской церкви...

Я согласился.

Я написал речь по-французски, а драгоман Манолаки Сакелларио перевел ее по-гречески. Конечно, я хвалил Ступина точно в том же духе, в каком хвалю и здесь. Говорил, между прочим, что хотя Фракия страна и смешан-

ная, но для русского агента нет на Востоке ни сербов, ни греков, ни валахов, ни болгар... есть только православные.

Католиков местных я, конечно, не называл прямо, а говорил о жалких врагах наших, кричащих бессильно на нас и т. д. О турецких властях отзывался я почтительно и говорил, что Ступин оттого и успевал делать столько добра местным христианам, что, снискивая расположение мусульман, он видел от них всякого рода уступки.

Заупокойную обедню служил в селе Демердеше сам адрианопольский митрополит Кирилл (грек), но в церкви, кроме болгар демердешских и избранных адрианопольских друзей Ступина (и русского консульства вообще), не было никого лишнего. Все остались довольны; один только грек, брат нашего драгомана, Костаки Сакелларио, продавец галантерейных товаров и яростный приверженец «великой эллинской идеи» распространения Греции до Балкан, остался недоволен. Он говорил, что вся моя речь направлена против эллинизма. Не мог же я в самом деле уверять хоть бы этих самых демердешских мужиков,

которые тут же молились за душу Ступина в своих шапках на полубритых головах, что они эллины!..

Через несколько дней после этого вернулся Золотарев и принял от меня консульство. У меня было тогда готово черновое донесение о панихиде по Ступине и о прекрасной памяти, которую оставила в Адрианополе его деятельность; при донесении был приложен русский перевод моей греческой речи.

Золотарев прочел и донесение, и речь. Донесение исправил по-своему, сократил, сделал его менее хвалебным, несколько охладил тон, переписал сам набело и отправил от своего имени в Константинополь. Что касается речи моей, то он возвратил мне ее, говоря: «лучше не посылать ее. Вы прекрасно сделали, что здесь сказали ее, но в посольстве многие Ступина не любят и будут вами недовольны».

Через месяц я сам был в отпуску в Царьграде, а Золотарев остался в Адрианополе пока один, без секретаря. Надо было и мне отдохнуть после двухлетних почти непрерывных трудов... Я сидел раз в канцелярии посольства

и спорил с одним из влиятельных при посольстве лиц. Тот напал на Золотарева, а я защищал своего молодого консула.

– Вот вам пример его необразованности и бестактности, – воскликнул мой собеседник, – его последнее донесение о Ступине... Хвалить какого-то Держиморду, который сокрушал всем зубы, чтобы доказать величие матушки-России!

Я засмеялся и сказал:

– Бестактный и необразованный человек этот я! Нельзя иногда не сокрушать зубы...

Я рассказал тогда всю историю донесения; сказал даже прямо, что говорил и речь в церкви и нахожу, что сделал прекрасно.

Собеседнику моему на это нечего было возразить; меня он не только глупым и необразованным не считал, но, напротив того, как нарочно дня за два пред этим он говорил мне: «Хорошо бы, если бы все консулы у нас были такие, как вы: люди привычные к умственному труду и научно образованные»...

И тотчас же, входя в роль чиновника посольства, заметил мне не без внушительной вежливости:

— Я, кажется, старался объяснить вам, Константин Николаевич, что когда делают надпись в углу, внизу официальных писем, то ставятся два этцетера, а три ставятся только в случае письма к особам царской крови.

Надо заметить, что между посольскими чиновниками и консулами постоянно замечается тот род антагонизма, какой бывает в армиях между штабными и командирами отдельных действующих частей: полков, рот и т. п. Антагонизм этот вполне естествен и есть неизбежное следствие разницы в положениях; впечатления окружающей среды совершенно иные. Консулы соприкасаются прямо с народом; секретари посольств ни с кем не имеют дела, кроме министров той державы, при которой аккредитован их начальник; когда секретарь идет по столице, его никто не замечает и не знает; когда консул идет по улице провинциального города, часовые турецкие отдают ему честь; многое множество людей в городе его знает в лицо и здоровается с ним; если его толкнут нарочно или оскорбят иначе как-нибудь, весь народ смотрит, тревожится и хочет знать, что он теперь сделает,

смел ли он сам, или не слаба ли стала держава, которую он представляет в городе...

Секретари трудятся при посольствах иногда очень много, нередко гораздо больше консулов; но у секретарей реже затрагиваются те живые струны патриотизма, которые связаны, по самому существу вещей, с личным самолюбием нашим; секретари индифферентнее и, надо правду сказать, часто благоразумнее консулов; консулы имеют свои пороки; и нельзя не сознаться, что положение их таково, что они слишком расположены «лезть на стену» и затруднять своими требованиями и жалобами посольство. Не раз случалось, что посольский чиновник, получив независимый пост, невольно возвышал свой тон и начинал «поклоняться тому», что он «сжигал» в столице так небрежно, насмешливо и мило. Когда же, наоборот, слишком пылкий консул получал место в Константинополе, то он невольно отрезвлялся и стыл...

И Ступина можно было бы конфиденциально попросить понизить свой тон, если в то время все эти Лавалетты и Тувенели были нам уже так нужны. Но едва ли требовалось

унижать этого способного и смелого русского деятеля.

Примечания

1

Не знаю, что значит это имя; оно больше похоже на немецкую фамилию, чем на мусульманское имя.

[^^^]

Консульство Российской империи (*фр.*)

[^^^]

Консульских путеводителях (фр.)

[^^^]

Глава V этих воспоминаний была выделена автором и помещена в сборник «Восток, Россия и славянство»

[^^^]

Великий консул (*фр.*)

[^^^]

обывателя (*фр.*)

[^^^]

без піджака (фр.)

[^^^]

почетный консул (*фр.*)

[^^^]

В то время, когда я служил в Адрианополе, многие еще живо помнили Дибича и его внезапное появление под Адрианополем.

[^^^]